

Н. УЛЬЯНОВ

СПУСК ФЛАГА

**New Haven, Conn.
1979**

Copyright © 1979 by N. Oulianoff

All rights reserved

Все права сохраняются за автором.

ИЗДАНИЕ АВТОРА

Russian Phototypesetting Corp.

243 W 56 St.

New York, N. Y. 10019.

Printed in U.S.A.

Статьи этого сборника имеют десяти-, пятнадцати- и двадцатилетнюю давность. Печатались первоначально в Новом Русском Слове, в «Возрождении», в «Российском демократе».

Объединяет их не столько тематика, сколько некая внетематическая тональность. Все они — о России и о русском изгнанничестве. Смысл их переиздания — в единственном желании сохранить некоторый след мысли и настроений последних лет эмиграции.

I

КЛАДБИЩЕ ПОГУБЛЕННЫХ ИМЕН

Русская революция отличается от революций других стран невиданным количеством переименований и подмен. Мало того, что самое имя России упразднено и заменено техническим буквенным обозначением, но вся огромная страна превращена, по выражению поэта Д. Кленовского, в «кладбище погубленных имен».

Сотни, тысячи городов, местечек, улиц лишены своих названий, полученных при рождении, и заменены новыми.

Иначе как национальным бедствием это не назовешь.

В воспоминаниях малоизвестного литератора прошлого века рассказывается, как И. С. Тургенев обедал однажды в чопорном английском клубе. Официант, подавая на стол, беспрерывно сыпал чужеземными названиями блюд и специй. Тургенев мрачно слушал и вдруг начал выкрикивать: «Каша! Телега! Кобыла! Лопата! Каша! Каша!» На недоуменные взгляды ответил: «Не могу! Должен хоть немного разрядить атмосферу простыми русскими словами».

Похоже это на анекдот, но выраженное в нем чувство характерно. Сейчас, когда русский язык в СССР переживает катастрофу и растет страх за его судьбу, уместно привести рассказанный случай. Мы никогда не чуждались иностранным словам и наименованиям, но знали:

зачем «фриджидер», если есть «холодильник»? Зачем «безмент», если есть «подвал»?

Это наше несчастье, что Ломоносовы и Карамзины не стоят ныне у кормила русского языка. Сейчас уже не помнят, что, заменив французское слово «вояж» «путешествием», Карамзин отверг в то же время доморощенную «лицедейку» ради чужеземной «актрисы»; он не пустил в русский язык «мокроступы», узаконив западные «калоши». Не то важно, чтобы сочинить отечественное слово в противовес иностранному, а чтобы оно украшало, а не безобразило язык и чтобы оно хорошо в нем «укладывалось». Сколько чужих слов сделалось нам родными до того, что мы от них ни за что не откажемся! И от скольких отечественных «наплевизмов», «психушек», «авосек», «забегаловок» с удовольствием бы отказались. Карамзин хорошо сказал: «У языка есть хранитель надежный и верный, это его же собственный дух или гений». То же с названиями и переименованиями. Только в бычьих мозгах способна была зародиться идея переименования десятков, сотен старинных городов и улиц и только чужое, не русское, сердце способно примириться с этим.

В топонимике отражена душа народа. Преименования означают не что иное, как поход против этой души, ее искоренение.

С каждым изменением названия
Что-то милое идет на слом.
Город Пушкин у меня в сознании
Царским не становится Селом.

Петроград с его тяжелой тризною
Петербургу нашему не брат.
И уже совсем зловещим призраком
Нынешний маячит Ленинград.

Не говорим уже о несоблюдении элементарного культурного такта при переименовании чужих городов. Можно гордиться взятием Кенигсберга, но переименование города Канта и присвоение ему имени хитрого тверского мужика, вся заслуга которого в том, что он усердно холоп-

ствовал перед Сталиным, — не может не коробить каждого интеллигентного человека.

Переименования — это род насилия.

Больше ста лет говорили «Тифлис», и вдруг это слово стало запретным. Надо говорить «Тбилиси». С полногласием русского языка оно находится в резком противоречии: нам его попросту трудно выговаривать. После двухсот лет «Выборга» нас заставили говорить «Виппури». Сейчас, кажется, «Выборг» восстановлен в правах, но одно время его надо было именовать по-фински. К этой же категории неудобопроизносимых относятся — Давгаупилас (Двинск), Липпау (Либава), Вильнюс, Каунас. Большинство этих названий — не под силу русскому человеку. На Давгаупиласе просто язык сломаешь. Вильну, столицу древнего Литовско-Русского государства, мы шестьсот лет так называли. Во всех летописях, во всех государственно-политических актах она — Вильна, а вот теперь нас терзают «Вильнюсом». В конце концов «Вильнюс» не трудно произнести; не трудно произнести Батуми, Сухуми, Хельсинки, но называя их так, не можем отделаться от чувства неловкости, как будто говорим не на своем языке. Батум, Сухум, Гельсингфорс — запечатлены в нашем сознании и всякое их коверканье воспринимается как повреждение самого сознания. Попробуйте «Рим» заменить словом «Рома» (его истинным именем) — и вечный город погибнет для нас. Все величественное, звучное, весь аромат истории соединен для нас, русских, с «Римом». Никогда мы и «Флоренцию» не променяем на «Фиренцу» или «Париж» на «Пари», хотя их так называют сами итальянцы и французы.

Мы ведь не возмущаемся, когда немцы вместо «Псков» говорят «Плескау», вместо Москвы — «Москау». Итальянцы точно так же ни разу не предъявили полякам ноты протеста за то, что те их страну именуют «Влох». Мы тоже целый народ называем «немцами», невзирая ни на какие «дойчи». Но ведь не было случая, чтобы на это обижались. Даже имена чужестранцев произносятся в каждой стране по-своему. У нас никто не скажет «Оскар Вайлд»,

но непременно «Уайльд». Американского поэта пытались называть Вайтом Вайтманом и Волтом Волтманом, но это не пошло. В России с самого начала утвердился Уот Уитмен и стал «нашим». Произошло это без регламентации сверху. Сам «гений» русского языка подсказал. Ныне в языке орудует не гений, а злой дух — антикультурный дух «наплеви́зма». Ему Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли — все равно.

В своей «топонимической» политике советская власть ничего не хочет знать, кроме пресловутого «разрешения национального вопроса». Существует убеждение, что если заставить русских называть Двинск Давгаупиласом, то латышские сердца навеки привяжутся к Кремлю. Ни шестьдесят лет пребывания у власти, ни опыт второй мировой войны, ни элементарное знание истории не открыли кремлевским мудрецам нелепости их национальной политики.

Конечно, русский человек так хорошо вымуштрован и приучен к безоговорочному выполнению «директив», что его можно заставить говорить по-каракалпакски.

Но есть предел выносливости даже для металлов. Если перед гитлеровским нашествием сам «великий», «гениальный» понял, что только национальная война спасет его державу, что русская национальность единственная, на которую можно делать ставку, и если он по окончании войны особую благодарность выражал **русскому** народу, то роль этого народа не скрыта от правительственных умов. Но «умы» могут просчитаться, полагая, что и в последующих войнах их вывезет тот же конек. Ежедневное вытравливание, ежедневное умерщвление национальной души может привести к тому, что народу и впрямь станет все равно «что гудок, что гусли».

НОВЫЙ ГАМЛЕТ

Досадно, если бы по такому знаменательному поводу, как четырехсотлетие со дня рождения Шекспира, не было упомянуто об одной в высшей степени интересной книге, вышедшей еще в 1962 году. Я получил ее позднее от неизвестного мне прежде автора из... Токио. Книга оказалась «захватывающей»*.

Не будучи сколько-нибудь знакомым с необъятной литературой о Шекспире, я ждал, когда люди более сведущие обратят на нее внимание и напишут компетентный отзыв. Быть может, где-нибудь в чужих странах такие отзывы появились, но на русском языке — ни в СССР, ни за рубежом о них не слышно. Между тем, именно в русской печати надлежало бы прежде всего отметить факт ее появления. Это не потому только, что автор русский и носит русское имя Александра Ванновского, но и потому, что высказанный им оригинальный взгляд на «Гамлета» является в значительной степени достоянием русской умственной жизни.

Здесь имеется в виду не знаменитый «русский гамлетизм» — психологическое и общественное явление XIX века, а особое понимание загадочной трагедии Шекспира, кото-

* "The path of Jesus from Judaism to Christianity as concerned by Shakespeare" by Alexander A. Vannovsky. Tokyo 1962, Japan, pp. 327.

рое до Ванновского никогда и никем не высказывалось, но которое зародилось на русской почве. Автор считает себя многим обязанным той «гамлетовской неделе», которая последовала в самом начале 1912 г. за постановкой трагедии Гордоном Крэггом в Московском Художественном театре. Публичные лекции Кизеветтера, Когана, Ермилова и других видных профессоров, статьи в газетах и журналах, частные беседы и толки дали обильный материал для размышлений. Особенно сильное впечатление произвела статья А. Н. Бенуа. По признанию автора, уже тогда зародилась у него мысль о втором, скрытом сюжете «Гамлета», составляющем основу его книги.

Немалую роль сыграл также перевод трагедии на русский язык великим князем Константином Константиновичем (К. Р.), каковой, по словам автора, «открыл двери шекспировской философии». Весьма возможно, что и некоторые русские работы о Шекспире вроде «Загадка вечности». Новый взгляд на «Гамлета» С. Атар-Рудневой¹ — не остались без влияния на развитие точки зрения А. Ванновского. Вот почему следует пожалеть, что работа его появилась не на русском языке.

Главным ее тезисом, сшибающим прямо с ног читателя, служит утверждение, будто знаменитая трагедия представляет своего рода тайнопись, где под покровом легендарного сюжета о принце датском скрыт другой, религиозный сюжет древнееврейского происхождения, проступающий даже в схеме родства главных действующих лиц. Королева, имеющая сына от первого брака и вышедшая замуж за брата своего покойного мужа, — это то сочетание, которое образовалось в Иудее после смерти Ирода Великого. Евангелие приписывает ему избиение младенцев, но согласно Иосифу Флавию, он искал Мессию в недрах собственного семейства, и жертвой его подозрений, вместо трех тысяч младенцев, сделался один из его сыновей, Александр, рожденный от Мариам — принцессы Хасмонейской династии, очень любимой народом. Он был убит Иродом,

¹ Петроград 1917.

а жена его, гречанка Глафира, с малолетним сыном, тоже Александром, бежала в Египет, где вышла замуж за ливийского царя Юбу. Когда умерли и Юба и Ирод, Глафира с сыном вернулась в Иудею и вступила в брак с новым царем Архелаем — братом ее казненного первого мужа.

Так как книга Иосифа Флавия стала известной уже в середине XVI века, то Ванновский полагает, что дохристианская версия Мессии вычитана была автором трагедии «Гамлет» оттуда. Оттуда же идет и весь замысел произведения, отражающий религиозную эволюцию древнего мира — от иудейского мессианизма к христианству.

В те дни это считалось ересью, за которую не трудно было попасть на костер. Этим и объясняется, почему он замаскирован сюжетом датской легенды. Немало способствует маскировке близость «Гамлета» к образцам старой английской драмы «загробной мести». Наш исследователь уделяет много места обоснованию тезиса, согласно которому у Шекспира под видом загробной мести развивается драма загробного искупления. Призрак отца ждет от Гамлета не простого отмщения за свою смерть, а избавления от мук, испытываемых на том свете. Вот почему принц, имея возможность быстро отомстить своему дяде-королю, медлит с его убийством. В «загробном искуплении» — вся сложность и загадочность трагедии.

* * *

Основываясь на «Книге Еноха», библейском апокрифе, Ванновский усматривает в призраке отца Гамлета существо небесное, вроде ангела или одного из тех сынов божиих, которых Господь карал за их связь с дочерьми человеческими путем заключения на десять тысяч лет в огненную темницу. Целые главы посвящены уяснению природы призрака. Излагать, даже вкратце, их содержание здесь нет возможности. Путем многих и сложных доказательств гебраистического и шекспириологического порядка автор подводит нас к мысли, что в образе короля-призрака явлен сам Мессия.

Роль «Книги Еноха» в создании «Гамлета» он считает исключительной. Книга эта, как полагают, появилась в Палестине около середины II века до Р. Х., в такое время, когда под действием чужеземного ига вера в приход Мессии и в создание всемирного царства Израиля начала потухать. Цель ее была — возродить эту веру.

Первым христианам она известна была в греческом переводе и почиталась ими не в меньшей степени, чем иудеями. До V века она считалась в числе священных христианских книг, и только с этого времени отвергнута церковью и отнесена к числу «пагубных и враждебных истине». Во дни Иисуса она оказала огромное влияние на формирование христианской идеологии и была, по мнению Ренана, источником не только образов и выражений, принятых новой религией, но и многое в учении Христа о Нем Самом как о Мессии объясняется влиянием этой книги.

А так как, согласно А. Ванновскому, эта же книга лежит и в основе философии «Гамлета», то в шекспировской трагедии отразился иудаистический период жизни Иисуса с его постепенным переходом к христианству. Вероятно, по этой причине некоторые выдающиеся люди XIX—XX вв. усматривали иногда в Гамлете сходство с Христом. Таковы Гете и Станиславский. Даже у Белинского заметно необычное восприятие шекспировской трагедии, которую он как гегельянец пытался осмыслить в свете учения о «мировом духе». Он, может быть, первый в России увидел главный узел и причину трагедии в призраке покойного короля, явившегося Гамлету — своему сыну.

Наличие скрытого еврейского сюжета приводит к пониманию драмы, как борьбы за установление всемирного Израильского царства. Таковую задачу поставил перед сыном призрак страдающего Мессии. Гамлет должен нанести первый удар коварному злодею, захватившему трон Давида, после чего вся нация поднимется против язычников. Но автор драмы, руководимый чутьем христианина, выдвинул образ всемирного царства справедливости, а подвиг Гамлета определил, как удар по «древнему змию» — вопло-

шению мирового зла. Только с сокрушением его отец будет избавлен от мук огненного чистилища. Таким первым ударом, по мнению А. Ванновского, является поставленный принцем спектакль с помощью приезжих актеров, разоблачивший преступление короля Клавдия.

Приходили ли когда-нибудь подобные мысли в голову миллионам людей, читавших «Гамлета»? Едва ли. Концепция Ванновского покажется, безусловно, бредом, вымыслом, чем-то похожим на творчество покойного шлиссельбуржца Н. А. Морозова, отрицавшего факт существования Наполеона, которого он объявил соляным мифом.

Но разве не бывало случаев, когда чей-то зоркий глаз подмечал в художественном произведении такие стороны, которых прежде не замечали? Разве не воскресали после долгого забвения многие великие поэты, в том числе Шекспир, оттого, что нашлись люди, взглянувшие на них новыми глазами? Сколь бы неожиданной ни была точка зрения А. Ванновского, она имеет не меньшее право на наше внимание, чем тысячи других работ о Шекспире. Кроме того, специалисты еще не сказали о ней своего слова. Для нас, неискушенных читателей, многое из того, что он пишет в подтверждение своих тезисов, имеет вид убедительности. Поражает обилие доказательств и их стройность. Кто из нас знал, например, о наличии в трагедии ряда слов: “Eale”, “Miching”, “Mallecho”, которых нет в английском языке и которые не объяснены шекспировскими словарями, но объясняются из древнееврейского языка? Знали ли мы, что наставления Полония сыну своему Лаэрту имеют источником Книгу Иисуса сына Сирахова? На добрых трех страницах А. Ванновский занимается сопоставлением ее текстов с текстами «Гамлета». Точно так же, простыми чудаческими выходами «сумасшедшего» принца были для нас прозвища, которые он давал Полонию: — «Иеффай» и «судия израильский». Но наблюдения Ванновского привели его к заключению, что Полоний — духовное лицо, член высшего совета Иерусалимского Храма, живший на священном холме, который у Иосифа Флавия назван «Офел». Что имя Офе-

лии, его дочери, произошло отсюда, для автора несомненно.

Надобно самому прочесть книгу, чтобы иметь представление о многочисленных доказательствах, приводимых в пользу существования скрытого еврейского сюжета в трагедии. Здесь, в краткой заметке, важно подчеркнуть, что новое понимание «Гамлета» привело нашего исследователя к роковому вопросу шекспириологии — к вопросу об авторстве. Он не признает актера Вильяма Шекспира автором приписываемых ему произведений. Причиной — все та же «Книга Еноха», оказавшая такое влияние на «Гамлета». Она еще в Средние Века исчезла с европейского горизонта и открыта в 1773 г., через 150 лет после смерти Шекспира, английским ученым Брюсом в Абиссинии, где сохранилась в переводе на местный язык. Совершенно очевидно, что Шекспир не мог ею пользоваться у себя на родине. Но был ли он в Абиссинии? Об этом ничего не известно. Существует версия, по которой Шекспир никогда не выезжал за пределы Англии. Надо, значит, искать какое-то другое лицо.

Ванновский склоняется в пользу давнишнего претендента на шекспировское наследие — Кристофера Марло. Его не смущает то обстоятельство, что трагедия о принце датском появилась много лет спустя после смерти Марло. Он извлекает исследование американского шекспириолога Кальвина Гофмана, поддержанное другим американским автором, Робертом Хийлбронером, согласно которому убийство Марло в трактирной драке под Лондоном в 1593 г. было фиктивным. Похоронен вместо Марло какой-то пьяница, тогда как подлинный носитель этого имени бежал через Ламанш в Европу. Весь этот эпизод разыгран был с ведома влиятельного покровителя и друга Марло, лорда Вальсингэма, который, видимо, и сумел придать делу тот вид, какой был нужен. Потому надо было «умереть», чтобы избежать тюрьмы, пытки и гибели на костре. Его обвинили в атеизме и в принадлежности к какой-то ереси.

Согласно Гофману, он поселился в Италии под чужим именем и посылал оттуда свои новые драмы в Англию,

все тому же другу-покровителю Томасу Вальсингэму который через актера Шекспира ставил их на сцене. Под именем Шекспира они и опубликованы впоследствии.

В Риме в те дни была многочисленная абиссинская колония, так что Кристофер Марло мог научиться эфиопскому языку и познакомиться с эфиопской письменностью, в частности, с «Книгой Еноха». Мог он с нею познакомиться и в библиотеке Ватикана, где она имелась в греческом переводе. Но вернее всего, поэт совершил по какому-то поводу путешествие в Абиссинию. Судя по тому романтизму, которым эта страна овеяна в произведениях Шекспира, она хорошо была известна автору его драм. По мнению Ванновского, волшебный остров в «Буре», на котором обосновался Просперо и который до сих пор не разгадан шекспиროлогами, думавшими иногда, что это один из Бермудских островов, был на самом деле Сокотрой, расположенной под боком у Абиссинии, возле северо-восточного побережья Африки. Убеждают его в этом отчеты экспедиций Ливерпульского музея в 1899 г. и Оксфордского университета (1956), равно как сочинения Шекспира. Он полагает, что Марло, подобно Просперо, жил некоторое время на этом острове.

* * *

Мы видим, таким образом, что книга нашего соотечественника написана очень искусно. Ее можно оспаривать и, вероятно, будут оспаривать, но нельзя не признать, что логическая ее конструкция сделана прочно — все предусмотрено, на все даны ответы и приведена аргументация. Такая стройность, законченность, «подогнанность» даже смущают. Смущают порой и доводы — более остроумные, чем убедительные, висящие иногда «на волоске». Так, например, едва ли нас можно заставить поверить, что актер, исполняющий в разыгранной при дворе пьесе роль убийцы короля, приближается к своей жертве на манер ползущей змеи. Такое утверждение основывается на словах Гамлета “damnable faces”, обращенных к актеру, под-

крадывающемуся с ядом к спящему. В русском переводе М. Лозинского они звучат, как «проклятые ужимки». «Начинай, убийца, да брось же проклятые свои ужимки и начинай». Какое основание видеть тут непременно «ужимки» змеи? Нам, конечно, понятно желание автора аллегорически связать образ братоубийцы — Клавдия — с «древним змием» — воплощением изначального зла — и подкрепить его таким штрихом, как официальное объяснение смерти прежнего короля от укуса змеи. Это талантливо, остроумно, но не дает нам права толковать “*damnable faces*”, как змеиные движения. И таких случаев немало. Автор несомненно грешит тем, что в логике называется *reticō p̄ncip̄ii* — употреблением для доказательства таких доводов, которые сами нуждаются в доказательстве.

Зато многое у него звучит убедительно и подкупающе, а главное, вниманию читателя представляются такие детали, которых раньше не замечали.

Разумеется, подлинную оценку книги Ванновского могут дать только специалисты — шекспирологи и гебраисты; для простых смертных она — увлекательное чтение; но если бы показанный им новый Гамлет оказался научной фантазией, — он останется интересным памятником в серии многочисленных попыток разгадать тайну «Монны Лизы мировой драматургии».

Я вряд ли ошибусь, сказавши, что книга Ванновского — самое значительное из всего, чем русское творчество отметило 400-летие со дня рождения Шекспира.

* * *

Н.Р.С., 31 мая 1964.

А. А. ВАННОВСКИЙ

Все книги А. Ванновского были враждебно встречены шекспировским обществом “Folger” в Вашингтоне благодаря чему не получили в США никакого распространения.

Причиной недоброжелательного отношения со стороны “Folger” было согласие Ванновского с точкой зрения Гофмана, считавшего творцом шекспировских драм не актера Вильяма Шекспира, содержателя «Глобуса», а драматурга Кристофера Марло.

Нельзя не выразить сожаления, что автор выпустил свою книгу не по-русски.

Ставка на английский язык оказалась ошибочной; русский читатель и лучше бы оценил ее и дал бы ей большее распространение. Впрочем, русский читатель одно, а заправилы эмиграции — совсем другое. Покойный жаловался, что ИМКА-ПРЕСС в Париже отказалась издавать ее по-русски на том основании, что никто, по ее мнению, не станет читать этой книги и издательство потерпит убыток. Непризнание, замалчивание, затапывание — горькая чаша многих эмигрантских писателей.

Одна из причин, по которой Ванновский очень жалел об отсутствии русского издания своей работы, заключалась в том, что, как он выразился в одном письме, — через Шекспира он перешел от Маркса к Христу и мнил своей

книгой облегчить такую же эволюцию всем современным большевикам.

В 1965 году вышло еще одно его произведение, на этот раз по-русски: «Третий Завет и Апокалипсис», посвященное памяти «друга и учителя» Н. А. Бердяева.

Несмотря на различие тем, все три книги объединены одним духом и одной общей эсхатологической идеей. К ним, по-видимому, относится и оставшаяся мне неизвестной книга “Buddhist Sect Zen and Anti-Buddha”, трактующая предсказания Будды в свете современных событий. «Современные события» — отправная точка всего творчества Ванновского. Она связывает и объединяет «Вулканы» и японскую мифологию с Библией, с Евангелием, с еврейскими и христианскими апокрифами, с шекспировским «Гамлетом» и с русской эсхатологической литературой первой четверти XX века. На всем лежит печать Апокалипсиса, под знаком которого проходит наше время.

Увлечение этой темой восходит еще к 1898 году. В предисловии в «Третьему Завету» он пишет, что был не единственным революционером, увлекшимся «Откровением св. Иоанна». Попав в 1900 году в вологодскую ссылку и встретившись там с Борисом Савинковым, убедился, что тот с еще большим старанием изучает Апокалипсис и вполне им захвачен.

Пристально заниматься этой книгой Ванновский начал с 1912 года, когда стал работать над шекспировским «Гамлетом». Это совпало со временем широкого интереса к кончине мира в русском образованном обществе. Пророчества Вл. Соловьева и Анны Шмидт, книги Свенцицкого, С. Булгакова, стихи А. Блока волновали публику. Из литературной темы Апокалипсис сделался мировоззрением, особенно после начала первой мировой войны.

В 1915 г. выпущены были по-русски толкования Исаака Ньютона на эту книгу и в предисловии к ней писали: «Мы переживаем теперь грозное время... внимание к пророческим свиткам, хранимым церковью, усиливается во сто крат, и всякая попытка приоткрыть завесу уготованного нам «лета Господня» может быть только приветствуема». Осо-

бенное влияние на Ванновского оказала двухтомная работа С. Булгакова «Апокалиптика и социализм», вышедшая в 1911 г., трактующая предмет Апокалипсиса как «мета-историю», как «ноуменальную сторону того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас, как история».

Это не кратковременная катастрофа, а эпоха сравнительно длительная — «последнее время в истории», после которого будет уже не прежний, а какой-то новый период, «космический». Ванновский особенное значение придает тому, что пророчество Анны Шмидт, предсказавшей «царство красного знамени», высказано в 1902 году, в год II съезда РСДРП и рождения большевизма.

Подобно тому, как незамеченная современниками казнь безвестного плотника из Назарета в царствование Тиберия означала величайший исторический факт, так и появление ничтожной группы в недрах российской социал-демократии может служить хронологической вехой начала гибели нашего мира.

А. А. Ванновский — типичное порождение русского серебряного века, который он унес с собой на чужбину и в котором жил до самой смерти.

В 1965 г. он писал мне, что сидит над политическим памфлетом «Тайна Советского Союза» и что он «нашел подлинный сюжет коммунистической драмы и его разоблачает».

Как бы ни относиться к идеям Ванновского, книги его носят на себе печать таланта и оригинальности.

Будем надеяться, что люди, близко к нему стоявшие, не дадут пропасть его литературному наследству. Быть может, они познакомят эмиграцию и с личностью покойного лучше, чем это мог бы сделать я по его письмам.

Биографических сведений в них содержится не больше, чем в Большой и Малой советских энциклопедиях.

Был он в молодости революционером, «другом Богданова», как пишет профессор Саито в предисловии к «Volkanoes», и был одним из основателей Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. В 1898 г. деле-

гирован на I учредительный съезд РСДРП от Московского «Союза Борьбы за Освобождение Рабочего Класса». Союз этот, как известно, — детище Ленина. С Лениным Ванновский тесно сотрудничал и принимал деятельное участие в революции 1905 года. Но уже в 1912 г. вышел из партии большевиков, а в 1917 году выступил решительным противником Ленина и написал два памфлета против коммунизма.

В первой мировой войне участвовал в качестве инженерного офицера и был в 1916 г. направлен на Дальний Восток в Хабаровск, откуда попал в Японию, где получил должность лектора русской литературы в университете Waseda, проработав там до начала второй мировой войны.

От атеизма и марксизма обратился к религии, к христианству, и под конец жизни написал книгу «Третий Завет», заключающую «новые данные о личности и учении Спасителя Мира».

До самой смерти не оставляла его мысль: «Если я, бывший социал-демократ и деятельный участник революции 1905 года, друживший с Лениным, прошел через Шекспира от Маркса к Христу, то современные большевики так же при моей помощи могут пережить подобную эволюцию».

С началом второй мировой войны Александр Алексеевич, как все иностранные преподаватели, уволен был из университета. «Начались тяжелые годы, — писал он в одном из писем, — но в конце концов я все-таки выбился и живу теперь сносно».

Писано это было 20 января 1964 г., а в первых числах января 1968 г. пришло известие:

«В субботу 16 декабря 1967 г. после короткой болезни тихо, без всякой муки, скончался Александр Алексеевич Ванновский в больнице имени Божией Матери (Сейбо-Беми) в Токио. Панихида у гроба была отслужена в той же больнице 18 декабря. Прах Александра Алексеевича будет погребен на кладбище «Такао», что находится неда-

леко от Токио, о чем с глубокой скорбью извещает
Вас S. G. Vishtak».

Умер А. А. Ванновский в возрасте 93-х лет.

II



СПУСК ФЛАГА

Ковчегом Завета русской эмиграции была ее литературная миссия. Десятки лет сторожевая вахта подлинной русской литературы находилась не в СССР, а за границей. Считался правильным приговор, вынесенный Бердяевым: «Всю советскую литературу нельзя назвать литературой». Ее можно изучать, но «потреблять» невозможно. Столь же беспощадный приговор вынесен Р. В. Ивановым-Разумником. Никому не приходило в голову считать Гладковых, Либединских, Чумандриных писателями. Но с некоторых пор за границей им стали оказывать знаки внимания, каких не выпадало на долю писателей-эмигрантов. На их вечера и выступления валом повалили. Кому из великих поэтов всех времен снились столь многолюдные аудитории, перед которыми выступал Евтушенко?

Эльза Триолэ устроила литературное выступление в Париже группы приехавших туда московских поэтов. Зал ломился от публики, а физиономия сталинского придворного пиита, автора самых подхалимских стихов, украсила страницы эмигрантской газеты. Анонимная статья «К предстоящему вечеру поэзии» 27 февр. 1966 г. в Свято-Серафимовском Фонде в Нью Йорке гласила: «Чьи голоса прозвучали на всю Россию? Мало того, на весь культурный мир? Этими

голосами оказались голоса литературных гениев современной нам России». Так и сказано — гениев.

Давно ли толстые журналы в эмиграции пестрели фразами: «в теперешней советской литературе нет ни одного полноценного произведения», а тут за молниеносно короткий срок — и «замечательные произведения» и плеяда «гениев». Ни Пастернака, ни Ахматову к плеяде не относили, советскими их не считали, но и всех советских именовали не иначе, как «русскими». И всю литературу в СССР — тоже «русской». Задача вечера, устроенного Эльзой Триолэ, была: «познакомить французов с сокровищами русской поэзии». Пока в Париже жили Ходасевич, Георгий Иванов, Мережковские — ни у кого не возникало такого желания. Сейчас живут Зайцев, Одоевцева, Адамович, но разве они интересуют Эльзу Триолэ?

А вот московские «гении» собирают несметную аудиторию.

Надо ли говорить, что не они собирают, а для них собирают? Собирают здешними силами. Здешние силы сочинили и учение, объясняющее внезапный урожай «гениев». Оказывается, народилась новая общественность; советская власть ослабела, она уже не хозяин у себя дома и как огня боится Евтушенки. Говорят, будто этот гений где-то при честном при всем народе отчитывал самого Хрущева. Нашлись эмигранты-туристы, «собственными глазами» видевшие, как на литературном собрании секретарь комсомола Павлов во главе взвода милиционеров ничего не мог с ним поделывать. «Общественность» отстояла своего Гракха.

Создается легенда о каком-то «пробуждении» свободного творчества в СССР. Люди положительные, побывавшие в СССР, никакой революции не замечают. Возвратившийся оттуда раввин Джордж Либерман сообщил, как один советский писатель признался ему: «Я считаю себя своего рода предателем, ибо пишу вещи, в которые не верю. Но иначе я не могу. Я обязан их писать». Другой заявил: «Советские писатели так напуганы, что буквально боятся друг друга. Ни один из них не знает,

когда его коллега на него донесет, чтобы спасти собственную шкуру. Так что когда группа советских писателей сходится, никто не высказывает своего частного мнения... Советским писателям очень бы хотелось познакомиться поближе с зарубежным миром, но только избранным разрешается ехать за границу».

Чем эта обстановка 1966 года отличается от обстановки 1956, 1946, 1936 годов?

Мы верим Либерману не потому только, что он духовное лицо, но и потому, что его сообщения не противоречат тому, что можно почерпнуть в самой же советской печати, и не противоречат логике и знанию природы советской власти.

С чего, собственно, началось?

Со статьи Померанцева (не нашего, а советского), со статьи Эренбурга «О работе писателя», с Дудинцева, с Солженицына... словом, все началось с Хрущева. Без него ничего не начало быть, что начало быть. Известно теперь, что «Один день Ивана Денисовича» был им апробирован для печати и написан, конечно, не по инициативе автора.

По выражению Р. Б. Гуля, он «вошел в генеральную линию пропаганды Хрущева вместе со стихами Евтушенко о мавзолее Сталина»¹. «Известия» назвали Солженицына «подлинным помощником партии в святом и необходимом деле»¹.

Слишком хорошо известна советская власть, чтобы можно было допустить мысль о возникновении хартии литературных вольностей без соизволения и без внушения свыше. Кремлевский режим, заведенный Сталиным в террористический тупик, ловко воспользовался беллетристическим и стихотворным творчеством для перемены климата. Часть писателей привлечена была к десталинизации. Этим объясняется, почему авторы произведений, за которые полагалась смертная казнь, не только не пострадали, но награждены всероссийской и мировой известностью.

Когда появились первые симптомы «оттепели», эмигра-

ция вполне правильно расценила их как маневр, как политику партии, а вовсе не как бунт в самой литературе. Она обратила внимание на «дарованный», а вовсе не завоеванный писателями-героями характер свободы и льгот. По словам «Нового Журнала», литературную птицу не выпустили на волю, а только расширили клетку, предоставив ей внутри тюрьмы бóльшую свободу движения. Позволили петь о любви, не подчиняя любовную лирику борьбе за поднятие урожайности: сократили чисто политическую тематику. Кое-кому уже тогда это показалось «революцией».

Только с некоторых пор появился миф о «Новом обществе», о новой советской литературе, возведенной теперь в сан «русской». Лишь с этих пор произведения, подобные «Одному дню Ивана Денисовича», стали выдаваться за художественные произведения.

Вместо того, чтобы воздать им должное за их политическое значение и передать в ведомство газетных передовиц, памфлетов, фельетонов, ибо по природе своей они принадлежат к той советской беллетристике, про которую Бердяев сказал, что ее «в будущем никто никогда не будет читать, разве только для исторических исследований».

Но в эмиграции обнаружилась бездна филологических, литературно-критических дарований, принявших роднить Ивана Денисовича с героями Толстого и Достоевского. Увидели в нем «черноземный образ», занялись стилистикой, композицией рассказа, докапывались до этимологических корней слов «фуй» и «смефуечки». Бердяевская характеристика приложима ко всем этим «новым голосам»: к дудинцевскому роману, к поэмам Евтушенко. «Прогрели» они за политику, а не за литературные достоинства.

И если Евтушенко сделался Северянином Европы и Америки, так стыдиться за это надо не ему, а соотечественникам Бодлера, Эдгара По, Уота Уитмена. Много постыдного для западной цивилизации и для известной части русского изгнанничества в том, что ничтожные, либо, в лучшем случае, ординарные произведения объявлены

были шедеврами потому только, что они «нашумели». Нелитературный успех выдавался за литературный.

Появилась «Новогодняя сказка» Дудинцева. Это, конечно, произведение не первого ранга. Но это — литература. Это то, что можно читать. Но как мы ее приняли? Слегка похвалили, потом отметили в ней отсутствие серьезного содержания, а потом забыли и больше не упоминаем. Мы не хуже Союза советских писателей начинаем требовать «актуальности» от литературных произведений. Герцен как-то сказал, что демократы, втянувшиеся в борьбу с самодержавием, становятся сами порядочными самодержцами. Так и мы.

Впрочем, эмиграция уже не своим голосом поет. Все советские «новинки» подхватываются не нами, а иностранцами. Издаются, переиздаются, переводятся в Англии либо в Италии. Там на них ставится соответствующий штамп; оттуда начинается их превознесение вместе с их творцами. Нам остается роль подпевал. Знакомясь с таким произведением, мы «автоматически» воспринимаем и готовое заграничное мнение о нем.

Стоило чуть не полвека носить тогу «мудрецов и поэтов, хранителей тайны и веры», стоило по-геббельсовски хвататься за револьвер, защищая «парижскую ноту», чтобы под конец примириться на ноте красно-пресненской!

А ведь из-за «молодежной поросли» — всех этих Вознесенских, Евтушенов, Ахмадулиных — выглядят фельдфебельские физиономии Суркова, Твардовского — сталинских, ждановских надсмотрщиков литературной мастеровщины. Эти-то уж совсем никаких бунтарских заслуг не имеют. Ни «Одного дня Ивана Денисовича» не написали, ни «Бабьего Яра». Единственная их заслуга — «практическое проведение в жизнь» разрешенных свыше и ставших обязательными литературных свобод. Их подмешали к «гениям», как торговцы подмешивают толченый камень в гречневую крупу. Маневр, конечно, искусный. Но неужели к концу XX столетия эмиграция придет поклонницей врагов и душителей поэзии?

ДАРЫ ДАНАЙЦЕВ

В школьные годы мне довелось слышать рассуждение о ритме в русской истории. Начиная с 17 века, в начале каждого столетия происходили события, решавшие судьбу государства: Смутное Время, Северная война, Петровские преобразования, нашествие Наполеона, восстание декабристов. А в нашем столетии — мировая война и революция.

И вот ныне напрашивается еще один ритмический ряд, относящийся уже не к началу а к середине столетий. Разве за последние пятьсот лет каждая вторая половина века не отмечена крупными переменами внутреннего порядка и тенденцией к мирным преобразованиям?

Через сто лет после реформ Грозного — Соборное Уложение, полное торжество крепостного права, быстрое накопление элементов европеизма, подготовивших петровский переворот. Еще через сто лет — Жалованные грамоты, Комиссия по составлению Нового Уложения, просветительная политика Екатерины, а в прошлом веке — реформы Александра Второго.

Как не поставить в этот ряд десталинизацию и хрущевскую эру наших дней! Как не отметить явление, успевшее получить наименование «культурного НЭП-а»?

Достаточно упомянуть роман Дудинцева, рассказы Солженицына, стихи Евтушенко, повесть Тарсиса, чтобы ясно

стало, о чем идет речь. Писатели эти проявили небывалый политический либерализм, о котором в сталинские времена и думать не смели. Порой это настоящее разоблачение смрадных тайн, мыслимое лишь при государственных переворотах. За границей бесчисленные «рисерчи» и легион специалистов по советскому вопросу решили, что это пробуждение народа и общества, некая «стихия», накопившая, по их мнению, «потенциал ненависти», достигла точки кипения.

Утверждают, будто «уже слагаются политические программы ведущих сил завтрашней России». Под их напором власть будто бы приходит в полную растерянность и вынуждена делать уступки за уступками. Недалек день, когда общественная стихия поставит власть на колени и продиктует ей радикальные преобразования государственного строя.

Такие умозаключения напоминают схему объяснения реформ Александра Второго. Они, дескать, «вырваны» у правительства волной общественного мнения. В сотую годовщину освобождения крестьян так это и говорилось. Но давно признано, что освобождение произведено было сверху правительственным актом, а либеральная общественность не только никакой инициативы не проявила, но плелась в хвосте событий. Она значительно уступала в своей активности Александру Второму и таким членам царствующего дома, как великий князь Константин Николаевич и великая княгиня Елена Павловна, не говоря уже о представителях высшей бюрократии, группировавшихся вокруг Н. А. Милютина.

Что же касается революционного шестидесятничества, то оно зашевелилось только после освобождения крестьян. Если не считать Герцена, оно мало и говорило об этом деле; его интересовала не реформа, а революция, восстание крестьян против помещиков, свержение самодержавия, социализм. В предреформенный период оно не выполнило даже полагавшейся ему по чину обличительной работы. Эту работу взяла на себя опять же государственная верхушка.

Трудно поверить, но это факт: все памфлеты, ходившие по рукам в 1854—56 годах, разносившие вдрызг политику и режим Николая Первого, порождены не подпольем и не крамолой, а возникли у подножия трона. Герценовская критика побледнела перед ними. Наиболее яркие и смелые их образцы даны авторами, чьи верноподданные чувства не подлежат сомнению.

Один из них — М. П. Погодин, профессор Московского университета, сторонник группы «Официальной Народности», лично был известен императору и выступал нередко в роли его советника. Другой — П. Я. Валуев, будущий граф и министр внутренних дел, а в те годы — курляндский губернатор. Памфлеты Погодина носили форму писем, которых он написал около 15-ти. Они показаны были Николаю Первому и получили его одобрение.

Москва и Петербург зачитывались набросанной в них страшной картиной тогдашнего состояния России.

«Я рассматривал его только с некоторых сторон, — писал Погодин, — а что было бы, если бы обозреть все: судопроизводство, дворянское воспитание, столичную роскошь, взяточничество под всеми его видами, проникнувшее до самого престола? Страшная представилась бы картина! Лукавии рабы и невернии, что мы сделали с своими десятью, с своими десять раз десятью талантами! И все это преимущественно вследствие ложного страха иметь западную революцию!» Между тем «Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен Емелька Пугачев. Ледрю Роллен со своими коммунистами не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой Пустосвятом разинет рот любая деревня. На сторону к Мадзини не перешатнется никто, а Стенька Разин, лишь кликни клич!»

Погодин камня на камне не оставляет от внешней политики Николая Павловича и его дипломатов. О смелости его ревизии можно заключить хотя бы по требованию предоставления Польше независимости. Про внутреннюю же политику читаем: «Невежды славят ее, России, тишину, но эта тишина кладбища, гниющего и смердящего физически и нравственно. Нет! О такой тишине

невыгодно отзовется беспристрастная история! Рабы славят ее порядок. Нет! Такой порядок поведет нас не к счастью, не к славе, а в пропасть!» Единственно радикальным средством от страшных злоупотреблений и гарантий, чтобы правда доходила до царя, ставшего «на высоту недосягаемую», Погодин называет гласность. Это то лекарство «на первый случай», «которое под угрозой казни запрещала нам западная наша политика».

Требование прекращения полицейской опеки и подозрительного отношения к просвещению было стрелой, направленной лично в самого императора. «Нельзя ограничить число людей образованных известными цифрами... Правительство увидит или уже увидело в продолжение этой войны необходимость в тысячах людей образованных на местах, а не иметь никак нельзя без общего деятельного, искреннего покровительства всем наукам, всем искусствам, образованию и просвещению вообще, без всякого ограничения сословий».

«Дума русского» П. Я. Валуева полна столь же резких обличений. «Сверху блеск, внизу гниль». Неудача войны, в которую Россия вступила без винтовых кораблей, без штуцеров, без стратегических планов и продуманной политической программы, объяснена «повсеместным недостатком истины», «пренебрежением и нелюбовью к мысли, движущейся без особого на то приказания». «Везде опека над малолетними. Везде противоположение правительства народу, казенного частному».

Валуев хочет «любить отечество свободною любовью и быть преданным своему государю не по указу». «Разве нам запрещено мыслить? Духовная сила мысли, свыше нам данная, не есть ли одно из орудий служения престолу и отечеству?»

Без этих цитат трудно было бы показать контраст между молчанием, царившим до Крымской войны, и смелостью, с которой стали высказываться всего через год после ее начала.

Это совсем, как в хрущевские и брежневские времена.

Подобно тому, как Погодину и Валуеву не миновать

бы Петропавловской крепости, выступи они со своими произведениями в 1852 г., а не после неудач Крымской войны, так и Твардовский несколькими годами раньше не только не напечатал бы в «Новом мире» «Ивана Денисовича», но отправил бы рукопись куда следует, а сам Солженицын загремел бы на Колыму.

Еще труднее допустить феноменальный случай с Тарсисом — неизвестным дотоле писателем, открыто заявившим себя противником советской власти, пославшим в Англию антисоветское произведение, за которое раньше не сносил бы головы, и несколько за это не пострадавшим.

* * *

Сам Тарсис, говорят, объяснял свою безнаказанность — советской правительственной боязнью мирового общественного мнения и тем фактом, что «для новых людей в Кремле неясно, что они должны делать с тем новым явлением, которое представляет он, Тарсис».

Правда, сведения эти исходят от иностранных корреспондентов, — источника мало надежного, но если Тарсис действительно говорил что-нибудь подобное — мы должны признать в нем человека, непоколебимо уверенного в своей безопасности. В советских условиях так может вести себя либо маньяк, либо доверенное лицо, выполняющее «задание» правительственных органов.

В советской России погибали в свое время ученые, артисты, поэты с подлинно мировыми именами и на Западе никто пальцем о палец не ударил для их спасения. А вот Тарсис, совершив небывалое преступление против советского строя, жил себе как ни в чем не бывало под Москвой, полагаясь на общественное мнение Запада, как на каменную стену. «Невероятно! Уму непостижимо!» — восклицал К. В. Болдырев в статье о Тарсисе.

В самом деле непостижимо. До прихода к власти Хрущева птица не перелетала советскую границу, а тут

вдруг полетели нелегальные рукописи, поэмы, романы, да еще с приложением фотографии и точного адреса авторов.¹

Неужели и впрямь органы государственной безопасности превратились в сонливого кота, которому мыши усы отгрызли? Сомнительно.

По слухам, напротив, органы безопасности окрепли вследствие рационализации своей работы и отказа от грубых методов. Аппарат их сделался более гибким, тонким. Быть может, благодаря этой гибкости он может позволить себе тот сложный маневр, что удивляет весь мир. Таким же образом удивляла мир Екатерина Вторая, допустившая в России свободу печати, какой ни в одной европейской стране не было, за исключением разве Англии. Дело дошло до литературной полемики о вреде и пользе самодержавия. Писались, печатались и принимались к постановке на сцене «тираноборческие» драмы вроде «Вадима Новгородского» Княжнина.

Самодержавие повсюду бед содетель
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.

Чем это менее крамольно, чем стихи Евтушенко о «партийных подлецах» или разоблачения Тарсиса? А ведь стихи Княжнина были ответом на рассуждения императрицы, изложенные в ее драме «Историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил из жизни Рюрика». Императрица не только Княжнина не покарала и не запретила, но не тронула и Радищева, когда он в одной из первых своих работ (Примечания к «Размышлениям

¹ Лет двенадцать тому назад один известный и осведомленный писатель уверял меня в частном письме, что все проникающее из СССР попадает к нам двумя путями — «чистым» и «нечистым». К последнему относил он все идущее «каналами», т. е. посредством специально налаженной переправы. Такими каналами идут как материалы, так и люди, вроде Тарсиса. Считал он его первой ласточкой какой-то новой эры. Задача его посылки на Запад — «тарсировать» заграничную русскую литературу.

о греческой истории» Мабли) писал: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому обществу состояние».

Только казнь короля в Париже вызвала у нас ликвидацию либерализма. Но именно тогда и ясно стало, что был он ни чем иным, как политикой Екатерины, а вовсе не напором «общественных сил». Порожденный властью, он просуществовал до тех пор, пока власть его допускала.

Не так ли и сейчас? Дудинцев, Евтушенко, Солженицын **санкционированы** властью столь откровенно, что об этом уже и спора нет.

Все в России делалось властью и через власть. Она опережала «общество» в былые времена, опережает теперь и, видимо, будет опережать до тех пор, пока Россия не достигнет зрелости материальной, культурной, общественной.

Для понимания старой России и советской очень важно выбросить вбитую нам в головы легенду об «общественности», представляемой на европейский образец. В России мыслимо подполье, заговор, группа диверсантов или саботажников, но в ней трудно представить «общественность». Ее, пожалуй, никогда не было. То, что обычно подводят под это понятие, представляло нечто до того жалкое и ничтожное, что не подберешь и мерки для определения степени влияния его на жизнь страны. В советские времена она попросту сфабрикована бывает правительством и партией, когда они нуждаются в ней.

Неужели найдутся способные верить в «пробуждение», видя во главе «молодежного напора» испытанных зубров и литературных заправил сталинского периода — А. Твардовского, А. Суркова и прочих «лауреатов»? Ответственная роль их в происходящих событиях лучше всяких рассуждений убеждает, что власть действует через своих людей, что все совершается под ее контролем, с ее согласия, по ее указанию. Задуман, видимо, тонкий политический маневр, разгадать который мы пока не в состоянии: но в том, что он исходит сверху, сомнений быть не может.

* * *

Ревизии, перестройки, либеральные эры начинались в России обычно в критические для государства или режима моменты. Особенно часто они связаны с войной. Война — ось и вопрос всех вопросов русской истории. Освобождение крестьян вызвано не «Записками охотника» и не стихами Некрасова, а падением Севастополя.

Покойный Н. И. Осипов, поместивший большой цикл статей по русской истории в НРС, был, кажется, искренне убежден, что отмена крепостного права и прочие реформы Александра Второго были следствием его свободолюбия. Но известно, что постоянным и убежденным сторонником упразднения крепостного строя был не Александр, а отец его, Николай Первый. Александр же, будучи еще наследником, заявил себя противником освобождения и другом крепостников, ликовавших при его восшествии на престол. Он высказывался даже против введения «инвентарей».

Только очутившись у руля государственного корабля и узрев воочию опасности, которым этот корабль подвергался, он почувствовал необходимость провести реформу вопреки своим симпатиям и с той стремительностью, на которую не мог осмелиться Николай I. И вовсе это не объяснялось страхом перед революцией. Когда ссылаются на известную речь к московскому дворянству («лучше произвести освобождение сверху, чем оно произойдет снизу»), то забывают, что сказана она для острастки Собакевичей, туго поддававшихся на царский призыв и ничему не внимавших, кроме напоминания о призраке пугачевщины. Не либерализм двигал реформу.

Молодой царь находился под впечатлением крымского поражения и полного банкротства русской военной системы. Ее надо было срочно менять, благо к этому времени существовал образец новой, более совершенной, разработанный Шарнгорстом в Пруссии еще во времена наполеоновского владычества.

Но она требовала немедленного освобождения крестьян и значительной перестройки жизни страны. Преобразования Александра Второго вытекали отсюда. Не случайно, что

в ряду этих преобразований последней по времени явилась военная реформа. Ее невозможно было провести раньше хотя бы потому, что главное ее содержание — всеобщая воинская повинность, имевшая целью создание обученной многомиллионной армии на случай войны — требовало предварительных правовых и социальных перемен.

Чем вызван «идеологический НЭП» в наши дни? На это еще трудно ответить по причине неясности самого явления и по недостатку информации. Обилие фальшивок, газетная ложь, туристические рассказы и злонамеренное распространение слухов затемняют картину. Несмотря на существование печати, радио, телевидения, мы живем в эпоху тайной политики и величайших секретов. Быть может, вся «тарсиада» окажется фарсом, придуманным для одурачивания Запада и эмиграции — временной дымовой завесой, прикрывающей какой-нибудь политический трюк. Но должно считаться и с возможностью широко задуманного плана перемен. Сейчас, в конце 70-х годов, нельзя не задумываться над небывалым фактом широкой волны эмиграции из СССР. До этого попасть оттуда на Запад без санкции НКВД-КГБ невозможно было, а теперь точно шлюзы открылись. Десятки, сотни, тысячи получают разрешение на выезд. Ни народным, ни общественным движением этого не объяснишь. Это акт правительственной политики СССР. Цель, которую он преследует, нам еще не ясна. Но опасаясь данайцев, даже приносящих дары.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

«Русская история была бы более человеческой и гармоничной, если бы церковь сохранила свою независимость, возвышала голос и обращалась к своему народу, как это происходит, например, в Польше».

Солженицын. «Письмо патриарху Пимену»

С некоторых пор в русской печати на Западе взят курс на стирание разницы между старой русской церковью, учрежденной Св. Владимиром, и новой, советской, созданной Сталиным. Одни это делают как бы случайно и невзначай, другие откровенно переносят отрицательные стороны новой на старую, а, отмечая в старой что-либо положительное, наделяют этими качествами новую.

Недавно зашел острый разговор о полной зависимости церкви патриарха Пимена от советского правительства. Неожиданного тут ничего нет. С самого дня ее основания весь мир знал, что она создана коммунистическим государством с сугубо политическими целями, как послушный его инструмент. Но ныне, говоря о зависимости ее от советской власти, видят эту зависимость как тыся-

четлетнюю черту, связующую иерархию Пимена с дореволюционным русским клиром. Аналогию усматривают прежде всего в «зависимости» обеих церквей от правительственной власти. Облегчен такой маневр интеллигентскими дореволюционными толками о порабощении русской церкви царской властью. Легенда эта насчитывает не одну сотню лет. Она иностранного происхождения и является памятником борьбы агрессивного католичества с православным миром. Когда-то поляки говорили: «Русские верят так, как царь им прикажет».

С появлением славянофилов и светского богословия тезис о зависимости стал достоянием части русской интеллигенции. Революционное подполье и либеральные круги придали ему особую выразительность лозунгом «отделения церкви от государства».

В последнее время он подвергся предельному заострению. Из него выводятся мрачные стороны не одной церковной, но всей русской жизни, и он превратился в источник вульгарной русофобии. «Русская история была бы более человеческой и гармоничной, если бы...» Когда делаются такие заявления, то безмолвно проводится параллель с западной историей, со «свободной» церковью, и оттуда берутся образцы «человечности».

Папская церковь действительно была независимой от монархической власти, но найдите другого беспощадного тирана и врага свободы вероисповедания, чем папская церковь. Моря крови, зарево костров, яд и кинжалы иезуитов, альбигойская и гугенотская резня — вот след ее в истории. О недостатке такой ли «свободы» в православии печалются современные «обличители»? По недоразумению или по какому-то непонятному нам смыслу, в число светлых страниц истории христианской церкви включена Польша.

Будь это написано в самой Польше, это было бы понятно, но в Москве или в Рязани такой образец христианской добродетели мог быть упомянут только по глубокому незнанию ни русской, ни европейской истории. В XVII—XVIII веках не было ни одной страны, включая

и султанскую Турцию, где преследование православного христианского населения, составлявшего значительную часть Речи Посполитой, носило бы такой планомерный и жестокий характер.

* * *

Не пора ли пристальней взглянуть на знаменитую «зависимость» и «порабощенность»? Существовали ли они? Не результат ли это ложных чужеземных внушений и обычного нашего невежества?

Понятие раздельности церкви и государства — западное понятие. Христианство в Римской империи возникло независимо от языческого государства, вопреки ему и в борьбе с ним. Органического единства между ними не могло быть; могли быть союзы. При Юстиниане союз их получил богословское оправдание, как двух порядков вещей, вытекающих из единого источника — воли Божией, и потому долженствующих быть в полном согласии между собой. Они объявлены «неслиянными», но и «нераздельными». Формула эта, признанная некогда идеальной, так и не получила своего воплощения в жизни Запада. Церковь и государство там всегда оставались «неслиянными» и раздельными. Как два контрагента, они либо заключали союзы и договоры, либо расторгали их, ссорились, воевали друг с другом. Подлинно нераздельными они были только в России и, конечно, не в силу юстиниановой формулы, а по ходу и по природе русского исторического процесса. Русское государство строилось не снизу, а сверху, не с фундамента, а с крыши; не хозяйственно-экономические условия создавали у нас общество и власть, а власть создавала общество и экономику. Другого пути у России не было, она могла возникнуть только так, либо совсем не возникнуть.

Столь же своеобразен путь русской церкви. Зародилась она в хозарские времена вместе с государством, и рождением одного обуславливалось рождение другого. В исторической литературе высказан взгляд, согласно кото-

рому 862 год, вошедший в Начальную летопись как год образования русского государства, был годом «первого крещения Руси». Православные храмы в Киеве существовали задолго до Владимира, и это довладимирово христианство сыграло немалую роль в появлении нового государства на востоке Европы. Церковь создавалась здесь в союзе с языческой властью, сделавшейся через нее христианской. С самого начала они были не отдельными самостоятельно возникшими явлениями, а представляли некое монистическое единство. Только в России можно было наблюдать нигде не виданный случай, когда титул «великого государя» носили одновременно два лица — царь и патриарх. Именовались они «Богоизбранной двоицей» и троны их стояли на одном уровне. Так было при царе Михаиле Федоровиче и при патриархе Филарете и так было при Алексее Михайловиче и патриархе Никоне. Можно видеть в этом историческую случайность, но подобная случайность могла возникнуть только в стране, где между церковной и государственной жизнью невозможно провести границу. Потребовался бы специальный очерк для описания чересполосицы и неразграниченности функций церковной и царской администрации, равно как взаимное проникновение царей и патриархов в гражданское и церковное управление.

* * *

От начала Руси церковь и государство выступили как единая сила, и это единство существовало уже в момент принятия христианства. Мы теперь знаем, что крещение свое Русь приняла не от властолюбивого Царьграда, подчинявшего себе окрестные варварские народы посредством их христианизации, а от болгарской Охридской патриархии. Византии не удалось уловить в свои сети ни княгню Ольгу, ни князя Владимира. Уже в проекции церковь была русской, национальной.

Подобно тому, как слово «христианство» дало название самому многочисленному сословию на Руси, крестьян-

ству, так термин «православный» означал когда-то не одно вероисповедание, но и русскую национальность. «Православные» — было широко распространенным обращением русских друг к другу. Такое срастание национального с религиозным вряд ли где встречается среди христианских народов. Нет католицизма итальянского, французского, испанского, так же, как не слышно веры шведской, норвежской, датской, а у нас говорили: «вера русская». Даже не «греческая». Среди христианских церквей она больше всех отмечена знаком национальности. Будучи создательницей Государства Российского, она постоянно чувствовала ответственность за свое детище. Часто опережала великих князей, царей и императоров на поприще государственно-политической мысли и строительства.

В малолетство Димитрия Донского Москвой правит митрополит Алексей. Государственно-политический авторитет Сергия Радонежского хорошо известен. Основанная им обитель, выдержавшая в Смутное время знаменитую осаду, запечатлела кровью своих иноков служение Российскому государству. Подвиги патриарха Гермогена и митрополита, впоследствии патриарха, Филарета спасли государство в самый страшный момент Смуты. Вернувшись из плена, Филарет сделался фактическим правителем государства — «русским Ришелье», как его называли на Западе.

Преобразования Петра совершались в таком тесном сотрудничестве с лучшей, самой культурной частью духовенства, что митрополита Феофана Прокоповича считают нимфой Эгерией создателя Российской Империи. Нет числа таким примерам.

Не рабство и подчинение, даже не «симфония», как любят выражаться ученые богословы, а органическое единство видим на протяжении всей истории русской церкви и государства. Его можно сравнить с мутуализмом или симбиозом, наблюдаемым в естественном мире, когда два организма пребывают без всякого принуждения в тесной связи и не могут существовать друг без друга. В. О. Ключевский тонко подметил невозможность для русского духовенства осуществлять свою духовную миссию

в такой стране, как Россия, без помощи верховной власти. Оно само обращалось к ней за содействием и ни в какую другую силу не верило. Знаменитый Филофей в своих посланиях ждет излечения церковных болезней и осуществления намеченной им программы исключительно от великокняжеской, от царской власти. Не только бороться с грехом мужеложства, но даже учить правильно полагать на себя знамение креста он вменяет в компетенцию правительства.

* * *

Будь русская церковь «рабой» государственной власти, она имела бы прекрасный случай избавиться от такой зависимости после завоевания Руси татарами. Татары взяли ее под свое покровительство и поставили по положению чуть ли не выше княжеской власти. Ханские ярлыки Гла-сили: «Кто веру русских похулит или ругать будет, тот ничем не извинится и умрет злою смертью». Ханы освобождали всю иерархию, от митрополита до последнего чина церковного, от даней и податей. Ни монастыри, ни церкви, ни их слуги и крестьяне не подвержены были никакому обложению. Никому они не были подсудны, кроме своих епископов и митрополита. Благоволение золотоордынских владык было таково, что русская церковь получила возможность открыть епископскую кафедру в самом Сарае — столице Золотой Орды.

Разумеется, русские князья не были изъяты из-под действия грозного указа: не **взирать** податей и не вмешиваться во внутреннюю жизнь **церкви**.

Нетрудно представить, как легко при поддержке ханов можно было бы освободиться от княжеской «зависимости», если бы такая существовала и если бы она была чужда и неудобна. Но тут и видим полную неприложимость к церковно-княжеским взаимоотношениям слов «зависимость» и «подчинение». Церковь не соблазнилась покровительством Золотой Орды и не проявила ни малейшего колебания в смысле верности своей земле и своему народу. Устав-

ная договорная грамота князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана свидетельствует, что освобожденная от татарской дани церковная иерархия помогала князьям выплачивать эту дань.

Что это было, принуждение или осознанная необходимость?

Нам, конечно, напомним о конфликтах царей с иерархами. Они были. Но что они в сравнении с теми, что имели место на Западе? Вместо тамошней борьбы и войн, здесь были, выражаясь гегелевским языком, внутренние диалектические противоречия, свойственные всем организмам в природе и в обществе. Россия не знала ни Каноссы, ни Авиньонского пленения, ни трех пап сразу, поставленных разными коалициями во время «Великого раскола» 1378—1417 годов.

Некоторые конфликты в России объяснялись просто индивидуальными качествами отдельных лиц — строптивостью Никона, патологической жестокостью Ивана Грозного. Только наша манера подыскивать каждому русскому явлению западную аналогию и подводить его под тамошние социально-политические схемы и наименования приводили часто к превратному толкованию.

Во всех наиболее значительных случаях не церковь и государство противостояли друг другу, а две группы, внутри которых церковный элемент перемешан был с правительственным. Знаменитый спор о секуляризации монастырских земель при Иване III велся не столько между властями светской и церковной, сколько между «стяжателями» и «нестяжателями», между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. К той и к другой партии примыкали бояре, чиновники, светские люди, и трудно было разобрать, где звучал правительственный, а где церковный голос. То был спор о жизненной для всей страны реформе. Победили в то время, как известно, «стяжатели», т. е. антикняжеская группировка. В суде над Никоном точно так же видим не поход царя против церкви, а реакцию самой церкви на невозможное поведение патриарха. И так во всех случаях.

Туповатый Арсений Мациевич, выступивший запоздалым защитником церковных земель, не встретил среди иерархов никакого сочувствия не потому, что они боялись царицы Екатерины, а потому, что были убежденными сторонниками реформы и руководствовались общегосударственными соображениями. Да и наложенная на Мациевича кара объяснялась не столько упорством в занятой им позиции, сколько выходками, оскорбительными для личности императрицы.

* * *

В эмиграции вошло в моду бранить Петра Великого за крутые меры против погрязшей в обскурантизме части духовенства, за упразднение патриаршества и замену его Синодом, объявленным славянофилами «приложением немецкого канцеляризма к спасению стада Христова». Подхваченное Вл. Соловьевым, Мережковскими, Карташевым, Бердяевым и уцелевшими участниками религиозно-философских собраний, словечко это пришлось по сердцу известной части духовенства, называющего по сей день Синод «департаментом вероисповедания», а весь синодальный период — самым мрачным в истории своей церкви. Они и считают Петра главным ее поработителем.

Лучший ответ на такую клевету дан самой историей.

Недостаток культуры не только резко отличал русское духовенство от прочих христианских церквей, но был источником всех ересей и расколов. Он делал русскую церковь беспомощной при столкновении с воинствующим католичеством и протестантством. Подавляющая часть духовенства не знала грамоты и совсем не осведомлена была в богословии. Если не считать Славяно-Греко-Латинской Академии в Москве, основанной в конце XVII века, и киевской Могилянской Академии, то никаких церковных школ в патриарший период не существовало. При Синоде же видим 4 духовных академии, 55 семинарий, 100 духовных училищ, 100 епархиальных школ с 75 тысячами ежегодно учащихся. Сама иерархия возросла численно. Вместо

20 епархий патриаршего периода к XX веку насчитывалось 64 и более чем 100 епископов. Цифра духовенства доходила до 100 000 при 50 000 церквей, 1000 монастырей и 50 000 монахов.

Изменился внешний облик духовенства. В его среде появилось множество высокообразованных людей, выдающихся ученых. Мнение одного из них, знаменитого историка протоиерея Е. Е. Голубинского, чрезвычайно важно в занимающем нас вопросе. «Период Петербургский, — говорит он, — есть период водворения у нас настоящего просвещения, а вместе с сим подразумевается и более совершенного понимания христианства». Как связать все это с «порабощением» и «зависимостью»? И как можно говорить о тождественной зависимости старой церкви и церкви современной, сталинской?!

* * *

Тема русской церкви не только конфессиональная, но и патриотическая. Она в одинаковой мере волнует и нецерковных людей. Православная церковь, по выражению Архиепископа Иоанна Санфранцисского, — «тысячелетняя мать России». Вместе со светской властью она была демиургом русской истории.

В 1682 г., при слабом царе Федоре Алексеевиче, церковь спасла государство от боярского расчленения на отдельные наместничества. «Святейший Иоким патриарх, аще и многую трудность име от хотящих тому быти палатских подустителей, но никако же попусти и възбрани всеконечно сие творити».

Ныне забыта эта государственная сторона деятельности русской церкви.

Через полсотни лет после расстрелов духовенства, после снятия колоколов раздается призыв к «возвышению» ее голоса...

Насмешка это или непоколебимая уверенность в глупости читателей?

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

В Вашингтоне вышел первый выпуск прекрасно изданного журнала «Икона — Icon», «посвященного религиозным и философским вопросам и преследующего цели христианского объединения». Хотя все авторы — американцы различных вероисповеданий: методисты, протестанты, католики, баптисты, но журнал печатается на двух языках — английском и русском. Из редакционного вступления видно, что появление его вызвано растущей угрозой коммунизма, воплощенного в государстве СССР. Как мыслят участники журнала свой вклад в борьбу с этим государством, выражено неясно. Кажется, исходя из того, что религия и коммунизм несовместимы, по каковой причине всякое раскрепощение религиозной жизни населения, пребывающего полсотни лет под жесточайшим прессом, будет способствовать ослаблению и развалу оногo государства. Журнал, видимо, и призван служить такому раскрепощению. Первая статья много говорит о бессилии советской власти убить и искоренить православие, о стойкости церкви в СССР, о «стремлении русских религиозных масс искать сочувствия и помощи у американского народа». Нет нужды говорить о тонкости и деликатности такого дела, как содействие целому народу в возрождении его религиозной жизни. Идеиная оснастка предприятия должна быть в этом случае как

оснастка военного корабля, в котором все одно к другому подогнано и прилажено и нет ничего лишнего, случайного. Достаточно, однако, прочесть первые несколько страниц журнала, чтобы отпала охота плыть на таком корабле. Вот одно из высказываний:

«Основная причина, почему коммунизм нашел отклик в России, заключается в его религиозном характере. В глубине русской души лежит страстное религиозное убеждение; мировое призвание России состоит в стремлении к осуществлению этой миссии через страдание и боль, причем всем этим руководит непоколебимая вера в благодать Божьей воли и необходимость безусловного и безропотного ей подчинения. Коммунизм при падающем авторитете церкви давал обещание реализации всех этих идеалов, но без ясного указания, почему они должны быть отстранены от Бога. Братство превратилось в революционный пролетариат; жертвенность превратилась в насилие, а воля Божия была заменена волей диктатора».

Здесь не то важно, что тирада эта иначе как фантастика не может быть воспринята советским читателем; важно ничем не прикрытое противоречие в мыслях руководителей журнала. Рассматривая коммунизм как религию, выводя его из русской религиозности, о каком освобождении этой религиозности от коммунистического гнета мечтают они? Да и не американские это мысли и не американский язык. Мы давно привыкли к отсутствию в здешней пропаганде «на ту сторону» национального американского лица, оно всегда подменяется чьим-то другим. В некоторых случаях это, может быть, считается необходимым, но в миссионерском деле — лицо прежде всего. Если права редакция, что там хотят слышать американский голос и ждут помощи от американского народа, то и преподносить надо то, чем Америка богата, — свою богословскую мысль, свой собственный религиозный опыт. Но зачем везти в Россию русский же товар, да еще подмоченный, — просвещать советского человека «Русской Идеей» Бердяева — произведением безответственным,

субъективным, могущим считаться образцом дезинформации в отношении природы таких явлений, как коммунизм и революция?

* * *

Журнал «Икона — Icon» может служить образцом одной покоряющей черты американского характера — доброты и благожелательного отношения к иноземцам. Он весь проникнут глубокой приязнью к русскому народу. «Крест, который я, как епископ, ношу на груди, — простой нагрудный, и сделан он в России в 1787 году, — пишет Фултон Ж. Шиин. — Чаша, которой я пользуюсь при богослужении каждый день, — одна из тех, которые советское правительство продавало в России и которую я получил в подарок от купившего ее американца. Ручной крест, которым я пользуюсь при богослужениях Восточного обряда, тоже русский, а сама служба ничем не отличается от службы в Православной церкви. Тот факт, что моя грудь, мои губы и руки прикасаются к священным предметам русского происхождения, не является случайным. В моей груди живет горячая любовь к России и к русской душе, на моих устах слова молитвы за них, а в моих руках крест нашего Спасителя».

Русские не избалованы выражением добрых чувств. Им столько приходится слышать расистских признаний в ненависти, что слова почтенного епископа не останутся, конечно, без столь же сердечного отклика с их стороны.

Но вот в чем драма русского народа: его всегда любили или ненавидели не за истинные его, а за воображаемые качества. Это относится не к одним иностранцам, но прежде всего к самим русским. Чего стоит один Достоевский с его «народом-богоносцем»! Ему он приписывал полное незлобие к классовому врагу и отсутствие какой-либо зависти к чужому богатству. «Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив — и пусть, благослови тебя Бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек». Это только в Европе «восстает народ на богатых силой, и народные вожа-

ки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его». Для России Достоевский не допускает такой возможности. «Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее; ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответной на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет». Кончилось не «сим».

После событий XX века, слова эти стали образцом лжепророчества и надуманности «русской души». Русская религиозно-философская и радикальная политическая интеллигенция (ее родной брат) никогда не знали своего народа, приписывая ему те черты, которые хотели видеть, и желаемое выдавали за действительное.

Революционеры не меньше Достоевского боготворили народ, только за прямо противоположные качества: в нем усматривали прирожденного социалиста, бунтаря, чья стенько-разинская природа ждет лишь случая и призыва, чтобы проявиться. Однако знаменитое хождение в народ, предпринятое в XIX веке с целью вызвать восстание, кончилось неудачей по причине монархических чувств и полного безразличия простого люда к агитации непрощенных освободителей. Во всех таких случаях, когда народ оказывался не тем, за что принимали его интеллигенты, ему приходилось расплачиваться потоками злобной клеветы; его называли прирожденным рабом, диким зверем, безбожником либо шаманистом в христианском обличье.

Будет ли и епископ Фултон Ж. Шиин продолжать любить русских, если не оправдается его вера в них? Имею в виду не одно только современное население СССР, а некую вневременную субстанцию, которую он именует «русской душой». «Русская душа» никогда не была и никогда не будет подвержена атеизму».

* * *

Мы будем благодарны уважаемому епископу, если он поможет нам истолковать знаменитый «нигилизм», считав-

шийся по преимуществу русским явлением, и если поможет понять, также признанный факт, что большая часть образованной России уже в XIX веке была неверующей, несмотря на то, что не порывала ни с церковью, ни с обрядностью. Нас уверяют, что русский атеизм отличен от западного, что «русский атеист, в сущности, верующий человек», как сказал Ницше, но поддаваться на такой афоризм позволительно кому угодно, только не борцам с неверием. Признав атеизм особой верой, мы не имеем права и коммунистическое государство считать антирелигиозным, но если согласиться с епископом, что утвердилось оно благодаря русской религиозности, то атеизм и надо будет признать истинной религией русских. Как это согласовать с миссионерской программой журнала «Икона — Icon»?

Насколько хорошо епископ Шиин знает Россию, видно из его похвал «чувству товарищества, братства и солидарности», распространенному у русских. Быть может, у кого-нибудь и закружится от них голова, но все трезво устроенные русские умы давно знают слова, сказанные еще в XVII веке дьяком Иваном Тимофеевым:

«Такой недуг укрепился в нас от слабости страха и от нашего разногласия и небратолюбивого расхождения: как отстоит город от города или какие-нибудь местности, разделенные между собой верстами, так и мы друг от друга отстоим в любовном союзе, и каждый из нас обращается к другому хребтом — одни глядят к востоку, другие к западу».

Это предмет нашей давнишней скорби. Она не перешла еще в отчаяние, потому что всем известна внешняя причина явления. Немцы, французы, англичане живут по 150 человек на одной квадратной версте; в России и до сих пор, по-видимому, эту квадратную версту занимают полтора-два человека. Русские тысячелетиями жили в условиях разобщенности, и для них государственная связь была долгое время единственной связью. Они живут надеждой, что с ростом народонаселения и устранением других искус-

ственных преград взаимному общению и близости недостаток братства и солидарности исчезнет.

Епископ Фултон Ж. Шиин в восторге от исключительной способности русской души переносить боль и страдание, он видит в ней залог добра и близости ко Христу. Ничего подобного не замечает он в «душе разочарованного, отвернувшегося от Христианства современного человека Западного мира».

Что русская история одна из самых трагических и что русскому народу выпали на долю необыкновенные страдания — это, конечно, верно. Верно и то, что православная церковь для утоления невыносимых мук напоминала постоянно народу о Христовой судьбе, о близости к Распятию всех мучеников на земле. Но она никогда не мыслила эти мучения вечными, не обращала их в конституционный признак «русской души». Это стала делать славянофильская поэзия и философия XIX века.

Константину Леонтьеву очень хотелось, чтобы не только паровой машины, но плуга, сеялки и сенокосилки не появилось в России. Ничего, кроме сохи. Техническая отсталость и сопровождавшая ее нищета служили для него залогом высокой духовной жизни и «юности» России. По такой же причине он возражал и против освобождения балканских славян от турецкого ига, полагая, что истинное Христианство и духовное горение живут у них только потому, что турки их периодически режут. С освобождением от иноземного ига они превратятся в пошляков европейской цивилизации — в лавочников, в буржуа.

Но что если и впрямь епископ Шиин и представляемый им журнал проникнуты славянофильскими и леонтьевскими воззрениями? Миссионерская логика в этом случае требует не русских спасать, а обучать страданию американцев — заводить у них целинные земли, ударничество и соревнование, стоять в очередях за хлебом, вырабатывать способность жить по двадцати семейств в одной квартире и вдоволь хлебнуть всего того, что хлебнул русский народ хотя бы за последние 50 лет.

Быть может, американцы в самом деле увидят в этом

истинный путь ко Христу, но мы, русские, попавшие в Америку, попросим себе другого.

Наш философ В. В. Розанов, еще шестьдесят лет тому назад, протестовал против понимания Христианства, как религии смерти и мучений. Нам чужд призыв Ф. А. Степуна умирать не в госпитале, а под забором, с целью усугубить и без того тяжкие страдания.

* * *

Одной из причин своей любви к русской душе епископ считает «глубину ее религиозного чувства». Очевидно, глубина эта признается большей, чем у прочих народов, иначе зачем бы ее подчеркивать и зачем противопоставлять ей «разочарованного, отвернувшегося от Христианства» человека Западного мира? Трезвые историки русской церкви, в том числе те, которые носили духовный сан, честно и безбоязненно вскрывали несовершенство духовной жизни на протяжении тысячи лет существования православия в России. Знакомство с их трудами открыло бы епископу и страшное засилье обрядности в ущерб смыслу Христианства, и непросвещенность народа и духовенства, приводившее часто к пустосвятству, и наличие остатков язычества в русской деревне. Ученая и церковная Россия никогда не заблуждалась на этот счет. Догмат об исключительном благочестии русского народа создан опять-таки не церковью, а светским богословием, начало которому положено в России А. С. Хомяковым и братьями Киреевскими.

Сейчас, когда их учение приходится слышать из уст католического епископа, невозможно не улыбнуться тому, что принято называть иронией истории. Дело в том, что происхождением своим оно обязано жесточайшей борьбе с католичеством. Известен церковный Дранг нах Остен в 16—17 вв., когда Польша, превращенная в католический форпост на Востоке, сделалась настоящей лабораторией богословских памфлетов, речей, проповедей, анекдотов, направленных на посрамление и поношение православия.

Русскую веру приравнивали к готтентотской, к самоедской, отрицали ее христианский характер, говорили, что русские веруют не в Бога, а в царя... В 18—19 вв. грубость утихла, сменившись более культурными формами высказываний, но уничижительный смысл их для православия остался прежним. Кончилось тем, что в самой России нашлись последователи таких взглядов. Явился Чаадаев. Опубликованное им в 1836 г. «Философическое письмо», представлявшее синтез католических высказываний о России, вызвало, как известно, реакцию в русском обществе. Его и можно считать создателем славянофильства. Объявив народы Католического мира избранными, ведущими человечество к Царству Божию, оно лишало Россию всякой благодати Господней и относило к подонкам христианской этнографии — к эфиопам, к лапландцам, единственно на основании несовершенства ее веры. Оскорбленное национальное и религиозное самолюбие русских выдвинуло учение, заключавшее в себе все главные тезисы Чаадаева, но с обратным знаком. Истинное Христианство, представленное у Чаадаева католичеством, славянофилы заменили православием, а подлинно верующим и подлинно благочестивым народом объявлен был русский. Только через него спасется мир. Уже тогда западные народы попали в разряд «разочарованных и отвернувшихся от Христианства».

* * *

Найдутся, может быть, охотники позубоскалить насчет курьезности случая, когда коренные американцы становятся славянофилами, а русским приходится выступать в роли «западников». Но никакого славянофильства на самом деле в журнале «Икона» нет. Есть обычное незнание России. Изучение ее, несмотря на существование бесчисленных «ресерчей», не очень-то подвинулось. Со стороны, конечно, трудно судить о причинах, но одна, может быть, главная, все-таки бросается в глаза. До революции о русских писали на Западе, как о всяком другом народе, и методы его изучения были обычные: знакомились с его

историей, этнографией, статистикой, литературой. Теперь нет. Какой-то Мефистофель подсказал, что победа коммунизма в России — результат внутренних, изначальных свойств народа, по каковой причине «изучение» стало сводиться к разгадке этих неуловимых свойств, породив бесчисленное количество замысловатых теорий, успевших уже сделаться достойным памятником умственного состояния современного мира. Немалый вклад в это творчество внесли русские религиозные философы эмигранты XX века вроде Бердяева, просвещавшие Западный мир по части «русской души». Будучи людьми таланта и эрудиции, они подкупали также своим русским происхождением. Кому и знать Россию, как не им! Я, вероятно, не совершу большой ошибки, предположив, что их писания о России приняты сотрудниками «Икона — Icon» как откровение, без всякой критики.

12 июля 1964 г.

III

ИСТОРИЯ И УТОПИЯ

Жизнью народов управляют
не столько живые, сколько
мертвые.

Ог. Конт.

Давно известна популярность призывов к расчленению России. Ее многонародность считается чем-то вроде «утопии», существующей вопреки историческим законам. Развалилась Британская империя, рассыпались империи Австрийская, Турецкая, а русская «утопия» — значительно старше их по возрасту — стоит.

В этом, по-видимому, и усматривают противозаконность ее существования. Более чем тысячелетняя давность ее отмечена русскими летописями. Когда князь Олег начал свое движение с новгородского севера на киевский юг, он у попадавшихся по пути племен спрашивал: «Кому дань даете?» — «Хозарам даем по щлягу от рала». — «Не дайте Хозарам, дайте мне», — говорил Олег и включал племена в число своих подданных.

Исследователями давно обращено внимание на характер вопроса Олега. Он не спрашивал: «Даете ли кому дань?» То само собой разумелось. Народы восточно-европейской равнины уже тогда, в IX веке, не могли не быть чьими-то подданными, не могли не входить в какую-то государствен-

ную систему. Науке давно ясна древность этой государственной традиции, насчитывавшей ко времени Олега сотни лет своего существования.

Киевской державе предшествовали многочисленные государства, охватывавшие неизменно одни и те же земли, с сидевшим на них населением.

Новейшая историография обнаруживает много склонности начинать нашу историю не с Рюрика, а несколькими веками раньше. Мы все чаще раскрываем четвертую книгу Геродота и все больше видим в нем первого русского историка. В скифах, сарматах, готах, гуннах таится наше прошлое.

Мы мало знаем о киммерийцах — самом древнем народе, упоминаемом у Геродота, но имеем много оснований заключать о его широкой культурно-этнической роли, которую без преувеличения можно назвать «всероссийской» в территориальном смысле. Об этом свидетельствует не только топонимика, сохранившая до наших дней основу слова «кимер», «сумер» в названиях различных мест, вроде озера Самро под Петербургом или местечка Кимры. Звучит оно и в названиях таких племен, как «Меря». Заключая в себе понятие мрака, тьмы черноты (тотем киммерийцев), слово «кимер» — по изысканиям академика Н. Я. Марра вошло в русский язык в значении «сумерки», «смерть», «север», «смерд» и т. д.

Что же касается более поздних скифских времен, то тут Геродот прямо говорит о государстве, простиравшемся от Дуная до Дона и Волги.

В науке нет полного единодушия относительно факта существования обширной скифской монархии; некоторые ее отрицают. Но есть и сторонники в лице хотя бы такого авторитета, как И. И. Ростовцев.

Начальная русская летопись, в согласии с Геродотом, называет сидевших «по Днепру оли до моря» уличей и тиверцев — скифами («Великая Скуфь»). «И суть грады их и до сегодня». Имея своей южной границей берега Черного и Азовского морей, «Великая Скифия» терялась в лесах Севера.

В. А. Городцов вскрыл скифские корни древнего русского искусства. В лице того же В. А. Городцова, Л. Динцеса, Н. Кондакова, А. Бобринского, А. Рыбакова археология установила генетическую связь древних славянских культов со скифскими верованиями. Богиня Берегина приднепровских славян пришла к ним от «Скифов-Пахарей». Имя ее — чисто славянского корня — «беречь», «оберегать». И не она ли с зарождением христианства сделалась у древних славян «заступницей»?¹

Если прав Н. Я. Марр, усматривающий в геродотовых Аримаспах современных зырян, а в Аргипаях — вогулов, сидевших еще в XVII веке по эту сторону Урала, в Архангельской и Пермской губерниях, то придется признать, что скифский элемент простирался до беломорских пределов. Но какие стимулы приводили скифов так далеко на север? В древности это могло быть только собиране дани. А дань — эмбрион государственной власти. Родилась и формировалась наша страна под знаком не национальным, а государственным. В этом ее отличительный признак. Уже во II—IV веках нашей эры, в период готского владычества, видим ясно выраженное государство, охватывавшее пространство не только от Дуная до Волги, не только Крым, но и земли русского севера до олонечких и беломорских дебрей.

Византийский историк Иордан называет в числе готских владений, обложенных данью, земли — *Mordens*, *Merens*, *Vasyna* и *Thiudos in Aunxis*. Среди исследователей нет разногласий относительно толкования этих терминов. Под *Mordens* разумеется Мордва, под *Merens* и *Vasyna* — Мерия

¹ Среди так называемой «второй эмиграции» оказался интересный ученый — протонерей Стефан Ляшевский, увлеченный темой появления христианства на территории России до Владимира Святого. К сожалению, исследование его, кажется, так и не появилось в печати. Только небольшая статья «Время крещения князя Бравлина и написания Евангелия на русском языке в 790 г.», напечатанная в «Русской Мысли» 11 февраля 1971 г., дает некоторое представление о его исторических изысканиях. Что христианские храмы существовали в Кисеве до Владимира — известно давно. Интерес изысканий протонерея Ляшевского в том, что крещеные вместе с Бравлином-Тавро — скифы были, по его утверждению, Русами.

и Весь наших летописей; что же касается *Thiudos in Aunxis*, то в ней усматривают Обонежскую Чудь. Онежское озеро у финнов до сих пор называется *Aunxis*.

Готская империя Германриха охватывала всю теперешнюю Европейскую Россию. Не меньшая территория, надо думать, была подвластна и гуннам, утвердившимся на развалинах готской державы и ставшим наследниками ее владений. Потом следует держава Антов, о которой сведений сохранилось очень мало. Известно лишь, что возникла она на землях «Великой Скифии».

В IX веке народы Русской Равнины составляют население двух больших государственных систем — Хозарской, охватывавшей весь юг, вплоть до Смоленска, и варяжской, распространившейся на весь Север. Такая раздвоенность длилась недолго. В конце IX—начале X века, варяги объединяют под своей властью весь комплекс земель, входивших некогда в скифскую, готскую, гуннскую империю, и основывают Киевское Государство. Таким образом, не Олегом—Святославом—Владимиром создана впервые основная территория России от Черного моря до Белого и от Балтики до Поволжья. Над нею трудились задолго до них хозарские каганы, антские князья, Аттила, Германарих и неизвестные скифо-сарматские цари. Много было случаев ее распада и раздробления, но каждый раз отторгнутые куски, как лоскутья гоголевской заколдованной свитки, сплзались и срастались друг с другом, образуя прежнее целое. С незапамятных времен на территории России видим только крупные государственно-политические образования. Не успевает сойти со сцены одно, как на смену идет другое, зачастую более обширное. Образование русского *Lebens-Raum* — явление древнее. Россия велика от рождения.

Пало Киевское Государство. По старой схеме русской истории наступило так называемое удельное время, или, как его теперь именуют, «период государственной раздробленности». О нем всегда говорят, как об эпохе, когда единой «всероссийской» власти не существовало. Но это неверно. Весь «удельный» период населявшие ее народы

пробыли в недрах Золотой Орды, ставшей наследницей киевских владений. С падением Киева империя не пала, но необычайно расширилась. Сменились столицы и династии — не рюриковичи, а чингизиды, не Новгород, Киев, Владимир, а Сарай-Бату, Сарай-Берке. Много изменилось в культуре, но ее древние земли с их населением остались неизменными.

Смены столиц и правящих групп производились, как правило, силой оружия, но не всегда это было «завоеванием». Олег и Святослав, говорившие всюду: «Не дайте хозарам, дайте мне», были не столько завоевателями, сколько организаторами государственного переворота. Они явились не с тем, чтобы присоединить Русь к другому, вне ее лежащему государству, но чтобы захватить власть в самой Руси.

Такой же характер носило задолго до них готское пришествие. Готы не явились распространителями на скифо-сарматскую державу своей государственной системы (как это делал Рим, например), они сами вошли в уже готовую систему и стали ее движущей и преобразовательной силой.

Только Батыево нашествие по своим внешним признакам было завоеванием и присоединением. Но стоило татарам утвердиться на Руси, как выяснилось, что не она является дополнением к улусу Джучи, а сам улус выглядит привеском к ней. Территориально он был очень велик, охватывал закаспийские степи и всю западную и северо-западную Сибирь, но эти пустыни ни в какое сравнение не шли с густо населенными и богатыми землями Поволжья, Ильменского бассейна, Поднепровья, Карпат, Половецких степей, Дона и Северного Кавказа. Сармато-Готско-Хазарско-Русская империя становится опорой и метрополией Золотой Орды. Сарайские ханы уже через какое-нибудь десятилетие после ее покорения почувствовали, что она является центром их улуса. Опираясь на нее, хан Берке становится могущественнейшим государем Европы и Азии и в 1262 г. при Дербенте сокрушает своего соперника, персидского Кулагу-Хана. Эта битва считается

одной из самых жестоких в мировой военной истории.

Прошло сто лет, началась «замятня» в Орде, ослабление ханской власти, и стало ясно, что недалек день, когда победители пойдут на службу к побежденным и на слияние с ними. Так и случилось. Не завоеватели присоединили Русь, но Русь присоединила к себе завоевателей.

В Европе и на Ближнем Востоке нашу страну, до самого XVIII века, называли различными именами. Византийские писатели именовали ее Тавро-Скифией, польские хронисты — Сарматией, на старинных европейских картах она фигурировала иногда под именем Татарию. И это не простое невежество. Народы России в самом деле составляли когда-то и Татарию, и Сарматию, и Тавро-Скифию. И не только в чужих краях, но у нас самих постоянно жило сознание нашей преемственности с этими древними формациями. Присвоил же себе запорожский гетман Юрий Хмельницкий, во второй половине XVII века, титул «Князя Сарматского». А в науке от первых наших историков — Байера, В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова через Забелина, Самоквасова, Грушевского — вплоть до наших дней — не умирала идея прямой генетической связи современной России с ее далекими предшественницами. Как ежегодные разливы реки, образующие пойму, накладывают печать на всю местность, которую они заливают, так многочисленные смены империй, захватывающих неизменно одно и то же пространство, образовали на Востоке Европы своего рода имперскую пойму.

* * *

В период между двумя мировыми войнами над популяризацией этой идеи потрудились немало Евразийцы. Но они находились в плену у старой индо-европеистики с ее теорией миграций, объяснявшей, как встарь, смену государственных образований переселениями народов — выходивших из древней прародины — пришествием одних, вытеснением

В России до сих пор бытует осколок древней песни, воспевавшей эту битву: «Ой, дербень, дербень калуга!» В переводе это означает: «О, застава Дербента!»

или истреблением других. Киммерийцев вытесняют Скифы, Скифов — Сарматы, Сарматов — Готы и так вплоть до пришествия Славян. Народы менялись; неизменной оставалась лишь территория. Евразийцы были глухи к голосу археологии, палеоэтнографии (а ныне и лингвистики), с давних пор объяснявших «доисторический» период совсем по-иному и накопивших обширный материал для полного переворота в представлениях о древнейших судьбах России. Уже Геродот не мог должным образом объяснить исчезновение Киммерийцев, сочинив легенду о самоубийстве, которым они якобы покончили при приближении Скифов. В свою очередь, никто не знает, куда делись Скифы, на месте которых ко II столетию до н. э. видим Сарматов. Эти последние через четыре столетия исчезают, уступив место Готам, и т. д.

После применения атомных бомб и гибели библиотек и архивов историки будущего тысячелетия несомненно установят факт исчезновения в первой четверти двадцатого века русского племени, вытесненного «советским народом», вышедшим неизвестно из какой «прародины». Установлено будет исчезновение многочисленных Малороссов, вытесненных таинственными Украинцами. Уже сейчас в соответствующих залах парижского Musée d'homme можно видеть надписи, согласно которым Россию населяют Великороссы, Белорусы, Малорусы и Украинцы.

Историческая наука все больше склоняется к тому, что народы Великой русской равнины являются автохтонами; ниоткуда не приходили и никуда не уходили, а живут тут с незапамятных времен, меняя свои названия, культурный, этнографический облик, государственно-политические образования. О тех же Скифах накоплено немало материала как о наших предках. Народ, называвший свое главное божество чисто славянским именем «Папай», а себя самих «Сколотами» (скифами их именовали греки), вряд ли далеко стоял от тех «склавов», «славян», что образовали Киевское государство. Были, разумеется, передвижения населения, были нашествия и завоевания, но то были волны на поверхности устойчивого народного моря.

Две главные особенности Российского Государства — его исполинские размеры и его многонародность, являющиеся как бы конституциональными признаками, сложились в незапамятные времена. Россия огромна от рождения. «Руссия велика, как бы другой мир земной, а народ русский по несчетному количеству подобен созвездиям», — писал в 1153 году краковский епископ Матвей Бернарду Клервосскому. Под «русским народом» епископ разумел, конечно, всю совокупность народов, входивших в этот «другой мир земной». И эта многонародность дана ему искони.

Согласно «Повести Временных Лет», первыми организаторами русского государства были не одни славянские племена — Новгородцы, Кривичи, — но также и финны — Чудь, Меря, Весь. Это они, собравшись вместе, послали за море к знаменитым варягам с предложением прийти «княжити и володети» ими. Пусть история с призванием князей — легенда, как это давно утверждают, но тот факт, что древняя новгородская земля от самого своего зарождения была славяно-финской, остается незыблемым до сего дня. И была она таковой не в силу «империализма» одного из племен. Какая-то сила объединила их для длительного совместного проживания.

Но зато уж Москва, скажут нам, сложилась как типично великорусское государство, прежде чем начала забирать под себя «инородческие» земли. Такое утверждение было бы недоразумением. К сожалению, оно существует. Суздальско-московская Русь до своего превращения в Московское Царство было русско-татарско-финской землей. Еще ни Рязань, ни Тверь, ни Новгород со Псковом, не говоря о смоленских, черниговских и полоцких пределах, ей не принадлежали, а уже в составе ее находилось Касимовское царство на Оке, образовавшееся из осколков Золотой Орды, состоявших на службе у московского великого князя. Входили в ее состав древние Меря, Весь, Муром, Мещера, часть Мордвы, а также обширные земли Коми-Зырян. Вместе с Новгородом и Вяткой к ней отошли

их северные владения — Корела, Лопь, Заволодская Чудь, Вотяки и Пермь Великая.

Москва росла не как великорусское, но как многонародное государство. России чисто русской никогда не существовало.

В первые века Киевского государства термин «Русь» означал не народ, не расу, а правящее сословие. Все русское понималось как государственное. У нас, вопреки марксистскому учению, не столько экономика и классы создавали государство, сколько государство создавало и поныне создает нужную ему экономику и классы.

Такая точка зрения получила развитие в трудах так называемой «историко-юридической школы», представленной такими столпами русской исторической науки, как С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин и тяготевший к ним П. Н. Миллюков.

Исторический процесс воспитал в населении России большой слой сознательных сторонников ее единства. Воспитание это довлеет даже над теми, кто ставит своей задачей разрушение России. Начав с призыва отторжения от нее земель и народов, они приходят каким-то заколдованным путем к тому же универсальному многонациональному государству. Полезно присмотреться с этой точки зрения к так называемым национально-освободительным движениям.

Ими руководит тенденция не столько отделения части от целого, сколько обладания самим целым.

В первые полтора десятилетия XX века в Финляндии наблюдалось явление, оставшееся незамеченным ни русской, ни мировой общественностью. Эта небольшая тихая страна, входившая в то время в состав России, устремилась вдруг на завоевание Российской Империи. Архангельская и Олонецкая Карелии оказались внезапно наводненными множеством финских студентов, пасторов, лесоводов, учителей, которые развили энергичную деятельность по финизации русских карелов, по обращению их из православия в протестантизм. В Сердоболе была для этой цели осно-

вана учительская семинария, стала издаваться специальная газета «Карьялайштен Пакинойта» и, наконец, основан политический «Союз Беломорских Карел», руководство которым находилось в Финляндии. Сопровождалось это широкой кампанией финской печати, призывавшей отторгнуть Карелию от России.¹

Постепенно выяснилось, что Карелия — только первый опыт, за которым должны последовать новые «завоевания». На все лады стала развиваться идея «Великой Финляндии», возникшая еще в XIX веке после историко-лингвистических и археологических изысканий Щегрена, Кастрена, Аспелина. Оказалось, что Панфинская держава мыслилась на пространстве ни больше ни меньше, как от Ботнического залива до Тихого Океана и от Белого моря до Черного. Популярный писатель Юхани Ахо мечтал об отечественном Александре Македонском, который когда-нибудь обратит в прах мощь новой Персии, сиречь России, и создаст на ее территории Великую Финляндию.

Примерно в таких же масштабах фигурирует в современной эстонской поэзии — «Великая Эстония». Восточная ее граница тоже доходит до Китайской Стены.

Национализм Зырян, Вотяков, Мордвы, Черемисов и прочих финских народностей спал первобытным сном до «Великого Октября». Разбуженный большевицкой пропагандой и «марксистско-ленинским учением», он дал слабые и бледные ростки. Но ошибочно думать, будто это были ростки сепаратистские.

Зырянский, вотяцкий, мордовский национализмы мечтают вовсе не о создании независимых, мелких республик, как подсказывала австро-марксистская схема. Достаточно бегло пройтись по их местным журналам, вроде «Коми Му»,

¹ В бытность свою профессором Архангельского Педагогического Института (1930—33 г.) я нашел в местном архиве «Дело о панфинской пропаганде в Карелии». Карелия до 20-х годов нашего века входила в состав Архангельской губернии, чем и объясняется, что следствие о пропаганде велось архангельскими властями.

«Дело» послужило мне источником для написания статьи «о панфинской пропаганде». С переездом в Ленинград я представил эту статью в «Исторический Сборник» — Журнал Академии Наук. Статья была принята, набрана, но не напечатана по причине моего ареста и ссылки.

издававшимся в 20-х гг., чтобы убедиться, что думают они не о мордовской или зырянской республике, а об обширной панфинской империи.

Около пятидесяти лет тому назад раскрыт был военный заговор Султан-Голиева. Главными действующими лицами в нем выступали казанские татары. Но оказалось, что заговор имел целью не возрождение древнего Казанского царства, а создание грандиозной державы в границах «Золотой Орды». Доминировал не этнографический, а геополитический принцип.

То же наблюдаем в бредовых проектах «Казаккии» и «Незалежной Украины», намеренной простираться от Карпат до Каспия, до Волги, до Урала и за Урал.

Государственно-политическая мысль как только соприкасается с российской почвой, не в состоянии бывает удержаться от гигантомании. Ею фатально завладевает тысячелетний образ необъятного многонационального государства.

ПОЗОРНЫЙ РЕЦИДИВ

1

Когда русская эмиграция делается предметом изучения, ее исследователи безусловно не пройдут мимо одного факта.

В 1925 году, в двухсотлетнюю годовщину смерти Петра Великого, память его торжественно отмечена была русским зарубежьем, как если бы это было в дореволюционной России. Если какой-нибудь сектор эмиграции не участвовал в торжествах, то и неприязненного ничего от него не исходило. Совсем иначе встречено в 1972 г. 300-летие со дня рождения преобразователя. Сначала — простое молчание, потом оскорбительные, полные ненависти статьи. Любопытнее всего, что исходили они не от «новой» эмиграции, вырвавшейся после войны из Советской России, а от матерой старой эмиграции.

Тон задала парижская «Русская Мысль» статьями главного ее редактора Шаховской и одного из ее сотрудников г-на Ский. В марте 1973 года в Новом Русском Слове появилась серия статей Ю. С. Сречинского «Белгородская черта», завершенная ярким букетом антипетровских сентенций. У всех троих наблюдается полное единодушие в оценке реформ Петра. Они признаны ненужными. Во-первых, как выразился Ский, «культура еще не нужна была наро-

ду, который только начинал отчасти выходить из своего своеобразного средневековья», а прорубание окна в Европу (по словам Достоевского, в него вошел к нам Пушкин) представляется ему не светлым явлением. Октябрьская революция, по его словам — дело не столько Ленина и Троцкого, сколько Петра Великого. Но если высказывания Шаховской — это оброненные мимоходом замечания, если статья Ский — просто памфлет с русофобским остроумием, то ньюйоркский журналист Ю. С. Сречинский подошел к теме с высоты исторической науки. Отсюда и заголовки его статей — «Белгородская черта». Так называлась одна из частей гигантской системы укреплений, наподобие Китайской стены, которыми московская Русь ограждала себя от «Дикого Поля». В какую связь эта черта может быть поставлена с петровскими реформами и вообще с Петром? Объяснения свои Ю. С. Сречинский дает в шести больших статьях в НРС.

На него произвела сильное впечатление появившаяся в Воронеже в 1969 году книжка некоего Загоровского «Белгородская черта». Эта совсем не плохая работа расценена им, как «проливающая новый свет на нашу историю 17 века», «позволяющая по-новому толковать некоторые факты нашей истории». «Труд Загоровского, — по его словам, — разрушает привычные представления о том времени, ставит новые вопросы и заставляет под другим углом зрения смотреть на предпетровскую и петровскую эпоху». Книжка эта попала в Америку едва ли не в единственном экземпляре и судить о ней приходилось только по статьям Ю. С. Сречинского. Но уже эти его статьи навели на некоторые сомнения. Выходило, что Белгородская черта — не только доминирующий пункт во всей укрепленной линии юга России, но и какой-то судьбоносный узел русского исторического процесса вообще. Строительство ее названо «великим подвигом русского народа». Похоже, что воронежский историк и его ньюйоркский почитатель открыли какую-то неизвестную и очень важную страницу русской истории. При этом, исторической науке ставится в упрек, будто она об этом русском подвиге «забыла».

«Забыла настолько крепко, что в исторической памяти стерлась и борьба с Диким Полем, и Белгородская черта. Даже само название ее настолько выцвело, что едва проступает на страницах нашей истории».

Всякому сколько-нибудь знакомому с соответствующей литературой такое обвинение режет ухо. Борьбе с Диким Полем и сооружению защитной линии на юге посвящено столько обстоятельных трудов и представлены они столь блестящими именами, что всякая речь о «забвении» была бы обидной покойным исследователям. Не их вина, что Загоровский вместо утвердившейся в литературе «Оборонительной линии» ввел новый термин — «Белгородскую черту» и тем дал повод Ю. С. Сречинскому говорить о «забвении». Все наиболее существенное о ней можно найти в трудах И. Д. Беляева, Д. И. Багалея, А. И. Яковлева, А. А. Новосельского и многих других. Писали о ней в связи с главной темой, занимавшей русскую историческую науку, — с защитой от татарских набегов. Отдельные эпизоды этой борьбы и роль отдельных участков гигантской оборонительной линии отражались в прежних исследованиях под углом зрения этой центральной темы. Специального монографического исследования вроде «Засечной черты Московского Государства» А. И. Яковлева удаивались немногие. Не посвящено было монографии и Белгородской черте. Но это вовсе не потому, что о ней забыли, что ее не знали или умаляли ее роль, а потому, что ученый интерес к такого рода монографиям ослабел, они уже мало что давали для широкой панорамы борьбы с Диким Полем, которая в первой трети XX века достаточно прояснилась.

Прежние исследователи, особенно А. А. Новосельский, перебрали задолго до Загоровского весь тот архивный материал, которым он пользовался. На долю Загоровского досталось еще немало работы, особенно по описанию техники крепостных сооружений, организации работ и т. д., но из его книги, при всех ее достоинствах, нельзя вывести заключения о том, будто она «разрушает привычные представления о том времени» и «заставляет под другим

углом зрения смотреть на предпетровскую и петровскую эпоху». Труд его не дает основания для той историко-софской «надстройки», какую воздвиг вдохновленный им Ю. С. Сречинский.

«В тот момент, когда русский континент начал принимать реальные формы, налилсЯ достаточной силой, чтобы тягаться с Европой и Азией, пришел Петр. Он пришел тогда, когда над Азией Россия уже одержала верх — на востоке граница шла по берегу Тихого океана, на юге победа была вопросом только времени. В страшной многовековой борьбе с Азией русский народ выстоял и победил. Россия начала выполнение назревших задач и на Западе. Польше пришлось вернуть все отторженное в Смутное время и отдать левобережную Малороссию с Киевом, матерью городов русских. Скрестили оружие и с Швецией и с Турцией — без успеха, но и без поражения». Все это давно известно, но ныне нас хотят уверить, что все это результат не общего роста страны, а возведения Белгородской черты, — утверждение смелое и никак не доказанное.

Все это, видимо, понадобилось Ю. С. Сречинскому для утверждения тезиса: Петр пришел на готовое, Русь и без него сделалась великой державой; ни западные, ни восточные враги ей были не страшны, значит, реформы его, имевшие целью усиление России, ничем не оправданы. Зачем было начинать ломку столь дорого ей обошедшуюся? «Нужно ли было уздой железной поднимать Россию на дыбы?»

За возмущенными вопросами следует список прегрешений Петра.

Он «порвал со всем русским строем, с русскими традициями, с русскими духовными ценностями, с тем, во имя чего и для утверждения чего русский народ веками боролся и с Востоком и с Западом. Ради материальной военной победы он изменил русскому духовному прошлому и будущему». «Он разбудил Россию и двинул ее по новому пути. Но одновременно оторвал ее от своих русских корней и подверг унижению, поношению и осмеянию ее прошлое». Он остановил «нормальное развитие России и пустил ее на подъездной к Европе путь». Эпоха Пет-

ра «должна была затмить собой и неизбежно умалить, принизить ненавистное ей московское прошлое». «Петр лишил русский народ преемственности, традиций, закона, духовного наследия прошлого и превратил его в сборище Иванов непомнящих родства».

Я, может быть, пропустил что-нибудь в этом списке, но и приведенного достаточно для самого жестокого приговора.

Не будем допрашивать строгого прокурора — какому это «русскому духовному прошлому и будущему» изменил преобразователь? От каких русских корней оторвал он страну? И что надлежит разуместь под традициями и «духовным наследием прошлого», которых он лишил Россию? Нам, Иванам непомнящим родства, очень бы хотелось это знать. До сих пор мы не чувствовали себя безродными. Добрых двести лет жили в сознании величайшего благодеяния, принесенного нашей стране Петровскими реформами, видели в них источник всей нашей культуры и своего национального самосознания. Мы утверждались в этом лучшими нашими людьми — Ломоносовым, Карамзиным, Пушкиным, Соловьевым, Ключевским, Богословским, Платоновым, вынесшими Петру не только оправдательный вердикт, но и выдавшими величайшую похвальную грамоту. «Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом под руководством Петра». Под этими словами Ключевского подписывалась не одна академическая Россия, но все лучшее, что у нас было.

От каких же «корней» идут теперешние наветы на Петра? Чем объяснить такой взрыв антипетровских настроений на 52-м году эмиграции?

Конечно, мы живем в эпоху необычайного расцвета русофобии. Но нельзя не вспомнить и некоторых литературных традиций, вдохновляющих ее. Теперешние поносители Петра ничего нового не внесли в обвинительный акт против него. Все заимствовано из готового арсенала.

Первые отрицательные суждения о Петре начались через 120 лет после его смерти, в 40-х годах прошлого века, с появлением славянофильства. Именно тогда инкриминированы были ему и измена русскому духовному прошлому, и пресечение нормального развития страны, и перевод русской жизни на чужеземные рельсы с отрывом от своих национальных корней. Никакими реальными причинами и никакими «открытиями», вроде «Белгородской черты», эта критика не вызывалась. Родилась она из религиозно-философских умонастроений, порожденных не историческими изысканиями, не изучением народной жизни, а увлечением немецкой философией. В системах Шеллинга и Гегеля обнаружили зародыш идеи великого будущего русского народа. Согласно гегелевской схеме, ему не может не принадлежать роль выразителя последнего и наиболее полного проявления всемирного духа. Чаяли скорого упадка Запада и выступления на мировую арену молодого русского народа. Западное человечество отметило свою историческую роль развитием рассудочности, логичности, построило жизнь на борьбе интересов, на правах личности, на развитии юридического начала. Россия, по мнению славянофилов, впишет в историю гармонию всех сторон духовной жизни и, прежде всего, явит в противовес западной рассудочности — чувство, душу. В идеальном, подлинно русском государстве, мораль, обычаи, общественный уклад и государственный строй должны определяться свойствами православной души. Государство 19 века мало отвечало такому идеалу, но в далеком прошлом, в московской Руси славянофилы видели его воплощенным. Государственное управление покоилось там на духовных христианских началах: сила власти принадлежала царю, сила мнения народу. Народное мнение олицетворялось Земскими Соборами, а царская власть благочестивыми царями вроде «тишайшего» Алексея Михайловича. Петровские реформы потому вызывали их негодование, что разрушили эту, будто бы истинно православную, истинно народную Русь.

Поворот Петра в сторону западной культуры расценивался как измена вере и русской национальности. Таким образом, отрыв от «русских корней», от «русских духовных ценностей», пресечение «нормального развития России» — не новость в русской литературе. Все это давно сказано и все отнесено в разряд спекулятивной мысли, лишенной научных оснований. Расцвет русской исторической науки во второй половине 19 века рассеял их историософию как дым. Уже современникам славянофилов вроде Герцена ясен был надуманный, сочиненный образ древней Москвы, не имевший ничего общего с историческим ее обликом.

На смену Хомякову и Киреевским пришел, в эпоху мистицизма, еще более безответственный вид оценок петровского времени. Сложилась новая гносеология, провозгласившая возможность знания без посредства какого бы то ни было изучения, каких бы то ни было рассуждений и выводов — знания **внутреннего**, возникающего без помощи внешних чувств. С этой новой теорией познания вышла на сцену новая плеяда философов типа Бердяева, Степуна, Ильина, заменивших изучение истории ее постижением. Провозглашен был метод интуитивного, мистического проникновения в сущность вещей и в тайны истории. Додумались до генетической связи «Третьего Рима» с Третьим Интернационалом и до духовного родства Петра Великого с Лениным и Сталиным. От их философии повалил густой дым развязных суждений на любую историческую тему.

Бердяевщина и славянофильство безусловно оставили след в головах, но есть еще причина, сеющая неприязнь к Петру — недовольство его церковной реформой. Некоторая часть русского духовенства до сих пор порицает его за упразднение патриаршества и за учреждение Синода. Вряд ли будет ошибкой сказать, что под жалобами на пограние «русских духовных ценностей», на «отрыв от своих русских корней» кроется, главным образом, протест против церковных преобразований.

Погружаться в эту тему во всем ее объеме здесь нет возможности, но главный предмет обвинений, касающийся нарушений древних православных канонов, не может

быть обойден. Никакого их нарушения Петром не было. Недаром после его смерти синодальная реформа признана была вселенскими патриархами и имеет санкцию высшего церковного авторитета. В православной византийской церкви монархическая форма управления представлена не одним патриархом; существовал еще император. Он был не только светским государем, но и главой церкви. По византийскому учению, Бог поручил церковь императору. Вальсамон, канонист 12-го века, ставил его власть выше патриаршей. В титуле его значилось — «святой» и «владыка христианской вселенной». Он мог входить в алтарь, благословлять народ, совершать богослужения.

Со строго канонической точки зрения, русская церковь с самого начала управлялась византийскими императорами. Они участвовали в поставлении митрополитов на Русь, в распределении епархий, в суде над иерархами русской церкви. Когда великий князь Василий Дмитриевич (сын Донского) попробовал сказать, что, преклоняясь перед церковью, он не хочет знать императора, он получил строгий выговор от Константинопольского патриарха.

Вполне естественно, что Петр, провозглашенный в 1721 году императором, унаследовал все прерогативы, связанные с этим титулом. «Богу изволившу исправлять мне гражданство и духовенство, я им обоим — государь и патриарх. Они забыли, в самой древности так было». Этими прерогативами пользовался уже отец его, царь Алексей Михайлович. Когда патриарх Никон покинул Москву, не сложивши с себя патриаршества, но отказавшись от управления Церковью, оставив ее в положении вдовствующей, место его заступил царь. Алексей Михайлович девять лет управлял церковью, и не по своему самодержавию, а по древнему византийскому праву, как наследник византийских василевсов. Нельзя забывать и того, что Синод в России главой церкви не был. Главой был император, управлявший Церковью посредством Синода. А что императорское управление для Церкви было благотворнее патриаршего, по этому поводу у серьезных историков нет разногласий.

Нас стремятся уверить, что культура и без Петра распространилась бы в России. Шаховская полагает, что правители типа Алексея Михайловича, «осторожно, ничего не ломая, но многое изменяя», могли бы двинуть страну «навстречу западному миру». Знание латыни и польского языка царем Федором и царевной Софьей кажутся ей достаточным условием для культурного возрождения Московии. И она, и Ский возлагают много упований на соседство с Польшей, на князя В. В. Голицына, «просвещенного полуевропейца» — фактического правителя страны при царевне Софье. Но сама история показала полную слабость и непригодность таких государственных деятелей. Кроме мазурки Русь вряд ли могла чему-нибудь научиться под их управлением.

Нужен был гений, пусть буйный и неистовый, но одаренный пониманием исторического своеобразия своей страны, проникший как бы в тайну ее судьбы, чтобы заставить мощными прыжками догнать культурно ушедшую от нас вперед Европу. Он понимал неприложимость к России идиллии мирного, постепенного ее преобразования. В мировой истории редко бывало такое. От ассирийских царей и египетских фараонов до Сесилия Родса и Китчинера культурная экспансия была спутницей военных походов, завоеваний и всякого рода насилий. Европейскую культуру тоже ковали «ударом мечным». Римское завоевание, рабство, колонизация, романизация — вот купель более жаркая, чем наше крепостничество.

Культура всегда лежала за пределами нашей страны; проблема перенесения ее на русскую почву связывалась либо с иноземным порабощением, либо с тем единственным в европейской истории случаем добывания этой культуры собственным мечом. Так было не только при Петре, так было и при Владимире. Упрекая Петра за насильственную европеизацию, забывают почему-то упрекнуть и Владимира Святого за христианизацию Руси. Она ведь тоже была насильственной. Если киевляне, боясь княжеской дру-

жины, не решились на восстание и со слезами, но покорно шли в Днепр креститься, то половина города Ростова ушла в леса, не желая отступаться от прежней веры. Новгород взбунтовался. Против него была карательная экспедиция под начальством Владимирова дяди Добрыни и киевского тысяцкого Путяты. Новгород был подожжен и взят приступом, так что пошла поговорка: «Добрыня крестил новгородцев мечом, а Путята огнем». Крещение Руси было актом не только религиозным, но и культурным. Православие было взято с бою, путем острого конфликта с Византией.

По мнению англичан, требуется семь поколений, чтобы создать джентльмена. Но у нас никто не задается вопросом: сколько времени нужно для появления профессора математики в стране, где веками царил лозунг: «Богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию», где не умели измерять углов, где из четырех действий арифметики знали только сложение и вычитание, а в умножении и делении совсем были не крепки, где числа обозначались буквами, а цифр арабских не любили и даже преследовали? Учрежденная Петром Академия Наук на протяжении всего 18 века состояла преимущественно из иностранцев. То же и основанный в 1755 г. Московский университет. Там долгое время не было русских профессоров. И это при наличии государственного поощрения и опеки! Что же было бы без этой направляющей воли государства!?

Вопрос о мирном эволюционном пути занимал умы еще в 18 веке и уже тогда был дан на него любопытный ответ князем Щербатовым — историком и публицистом екатерининского времени. Князь не был врагом петровских преобразований, но и с особенным восторгом к ним не относился. Не все в них нравилось ему. Но однажды он задался вопросом: «Во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы?» По его расчетам, это могло бы быть достигнуто только к 1892 году. Таким образом, к началу царствования

императора Николая II Россия находилась бы на культурном уровне екатерининских времен. А если продолжить хронологические выкладки Щербатова, то культура 19 века могла бы появиться в России только в 21 или 22 столетиях. Пушкина еще не было бы сегодня.

* * *

Итак — век Пушкина или век Никиты Пустосвята? Вирши Симеона Полоцкого или поэзия александровской эпохи? Дороже ли нам наука, просвещение, искусство, все, чем мы живем, даже здесь, в эмиграции — или какие-то неясные «духовные ценности» допетровской эпохи? Да и знанием допетровского времени, равно как всего нашего прошлого, обязаны мы тому же Петру, раскрепостившему историческую науку вместе со всеми другими науками. Я вряд ли ошибусь, сказавши, что наибольшее количество работ и изысканий русских историков, этих «Иванов непомнящих родства», посвящено как раз допетровским временам. Мы любим их, как любит человек страдания своего безотрадного, тяжелого детства, которые он все-таки преодолел и выбился к новой светлой жизни.

Из всех эмигрантских умопомрачений хула на петровские реформы — самое бредовое, самое патологическое.

IV

ЛЖЕПРОРОК

«Вот как встречала русская интеллигенция Шевченко (после его ссылки) в Петербурге. Огромный зал, переполненный людьми. Здесь весь цвет действительной элиты — ученые философы, поэты, профессора, артисты и студенческая молодежь. Выступают обладатели славных имен, деятели культуры. Вот говорит Достоевский... Долго гремят аплодисменты и ликующие возгласы. И снова тишина. На эстраде Шевченко. Все замерло. И вдруг внезапно зал наполняется таким экстазом, что его можно сравнить только с девятым валом рокочущего моря. Люди вскакивают с мест, летят цветы, жмутся руки. У многих слезы на глазах. Плачет и Кобзар».

Описанием этой сцены подарил нас некий Олесь Верховский в «Новом Русском Слове» от 21 мая 1961 г.

Я вряд ли был единственным человеком, испытавшим смущение и растерянность при чтении этих строк. Не знать о таком крупном событии, столь похожем на знаменитые пушкинские торжества в Москве — по меньшей мере стыдно. В дореформенной России не так много было открытых многолюдных собраний, на которые сходилась «весь цвет действительной элиты», чтобы описанное г. Верховским могло затеряться среди них. Между тем, ничего о нем не приходилось читать. А ведь оно и с историко-

политической точки зрения любопытно. Подумать только: малоизвестный поэт, забытый за время ссылки даже на своей Украине (об этом пишет Драгоманов), дает повод своим возвращением для грандиозной манифестации, в которой принимает участие другой недавний ссыльный — Достоевский. Если Шевченко прибыл в Петербург 27 марта 1858 г., то Достоевскому разрешено было вернуться в столицу лишь в декабре 1859 г. В момент описанного Верхивским шевченковского триумфа он обретался еще в Семипалатинске. Вряд ли он вообще когда-либо встречался с Шевченко. Все эти соображения затуманивают картину «встречи». Трудно вместе с тем поверить, чтобы г. Верхивский, выступая в столь распространенной газете, как НРСл., да еще с прямой целью обличить «ложные доводы», мог преподнести читателям неверный факт, придумать и экстаз, и слезы, и девятый вал рокочущего моря. Таким языком пишут о событиях, хорошо известных, давно установленных. В данном же случае не перестает мучить вопрос: когда оно все-таки было и в каких источниках отмечено? Можно допустить, что г. Верхивский не сослался на них, считая факт общеизвестным, но назвать дату или указать место собрания никогда бы не было лишним. Это прояснило бы многое и избавило бы заинтригованного читателя от необходимости рыться в шевченковской биографии, перелистывать Анисова и Середу («Литопись життя и твочосты Т. Г. Шевченка»), проследивших погод-но, иногда поденно всю жизнь поэта.

Но странное дело, ни в этом, ни в других трудах не содержится ни малейшего указания на описанное Верхивским собрание. Приходится заключить, что либо автор располагает какими-то неизвестными доселе материалами, либо того, о чем он пишет, — не было.

Я вряд ли ошибусь, высказав предположение, что под торжественной «встречей» г. Верхивский понимает давно известный случай, рассказанный самим Тарасом Григорьевичем в его «Дневнике» 12 апреля 1858 г. Там говорится о званом обеде у графини Н. И. Толстой, на который он со своими друзьями — Гулаком Артемовским и Лаза-

ревским — поехал прямо с выставки из Академии Художеств.

Обед, действительно, дан был по случаю возвращения поэта, вызволенного из ссылки стараниями доброй графини. Но в дневнике ни словом не упоминаются ученые, философы, профессора и «обладатели славных имен». Из сколько-нибудь известных людей называется только поэт Щербина, об остальных говорится, как о «близких многочисленных приятелях» графини. «За обедом, — говорит Шевченко, — граф Ф. П. сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов (воспитатель графских детей. Н. У.), потом Щербина и в заключение сама графиня Н. И. Мне было и приятно, и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново».

Вот и весь «девятый вал».

Сохранилось упоминание об этом обеде также в записках дочери графини Толстой — Е. Ф. Юнге. По ее словам, «присутствовали кроме наших общих друзей еще многие его земляки-малороссы, между прочими и Маркович (Марко Вовчок); говорилось много искренних и трогательных речей; говорил и отец мой; Шевченко был так растроган, что не мог кончить своей речи от слез».

Совершенно очевидно, что если не было какого-нибудь другого неизвестного нам чествования, то случай, описанный О. Верховским, относится именно к этому знаменитому обеду 12 апреля. Но какая разница в описаниях! Где тут «огромный зал, переполненный людьми», «эстрада», «студенческая молодежь» и вся картина большого публичного собрания? По словам самого Шевченко, собравшиеся помещались за одним столом.

Нам понятно страстное желание г. Верховского превратить скромный домашний обед в помпезное общественное собрание, но совершенно непонятна смелость, с которой он это делает. Надобно быть либо самому абсолютно уверенным в правде своих слов, либо чересчур низко расценивать умственные способности читателей. Конечно, мы всегда отличались феноменальным невежеством в украин-

ском вопросе, но не мог же Верховский исходить из твердой уверенности, что никто не захочет проверить правдивости его рассказа.

Случай этот представляется мне знаменательным. Выступить с опровержением тезиса о легендарном происхождении славы Шевченко и тут же сочинить новую легенду — не наглядный ли это пример самостийнического метода, которым в течение столетия создавался образ «великого кобзаря»? Удивительно ли, что получился именно «образ», т. е. икона, писанная кустарями-богомазами, а не портрет, в котором заинтересовано подлинное литературоведение?

По всем биографическим данным из Т. Г. Шевченко должен был выйти типичный «печальник горя народного». За это говорит и крепостное происхождение, и тяжелое детство и юность, и постоянное сокрушение об участи родных, оставшихся в неволе. Если представить эту душевную травму в сочетании с темпераментом прирожденного бунтаря, то образ революционно-народнического витии напрашивается сам собой.

Много ли, однако, в его стихах мотивов протеста против крепостной неволи и барского произвола? Ничтожное количество, явно не оправдывающее созданную ему репутацию. Против этого не будут спорить те, которые составили себе представление о творчестве Шевченко по его собственным произведениям, а не по трудам советских литературоведов. Не забудем того курьезного факта, что на щит он был поднят и превознесен, как национальный поэт, своими «классовыми врагами» — помещиками черниговщины и полтавщины. Золотым временем его творчества и славы были те 1843—47 годы, когда он подолгу проживал в барских усадьбах левобережья, был там обласкан и нашел не только ценителей, но и меценатов. Одна дама хотела за свой счет отправить его в трехлетнее путешествие по Италии. Нельзя сказать при этом, чтобы среда эта блистала культурой или либерализмом. Объединялись чаще всего на почве «мочемордия», как там именовалось пьянство. Либерализм же не шел дальше задорного словца по адресу правительства и чтения

запрещенных книг, вроде Мицкевича. На крепостные устои он ни в какой мере не распространялся: за земли, за крепостных держались прочно и властвовали по всем преданьям старины. Случалось, что комнатную прислугу били в присутствии поэта. Одному из своих поклонников, Лукашевичу, он должен был написать возмущенное письмо по поводу жестокого обращения с дворовым человеком. Лукашевич ответил посланием, оскорбительным для самого Шевченко. Недавний дворовый отлично знал, с кем имел дело. В одном стихотворении, написанном в оренбургской ссылке, он дал точную характеристику этим вольнодумствующим крепостникам. Но в упомянутое четырехлетие с наслаждением вдыхал фимиам, который они курили ему. Трудно допустить, чтобы делалось это в воздаяние за его мужицкие чувства. Протесты против жестокого обращения с мужиком исходили не от поэта, а от человека, поэт же кручинился и пел совсем о другом. Он был певцом козачества.

Верзется гришному усатый
З своею волею мени
На черном вороном кони.

В наше время трудно представить, каким божеством был запорожский козак для каждого украинофила того времени. Не только сила, удаль, «воля», борьба за какую-то «правду» связывались с его именем, но также особый общественно-политический строй и память о лучших временах украинской истории. Над будущим своего края поэт редко размышлял, но когда это случалось, мечты его неизменно облекались в запорожские формы.

Оживут гетмани в золотим жупани
Прокинется воля, козак заспива
Ни жида, ни ляха, а в степях України
Дай-то, Боже милий, блисне булава.

Только в стихах последнего года его жизни промелькнуло однажды имя Вашингтона, которого «ждемось таки колись», но вряд ли в этом следует усматривать что-

нибудь большее, чем поверхностное влияние петербургского шестидесятничества. Современную Украину, выступающую в его стихах серенькой, убогой страной, полной противоположностью волшебной Украине Гоголя — цветущему краю, более счастливому, чем остальная Россия, он оплакивал вовсе не потому, что в ней нет Вашингтона. Называя ее «сиромахой», «сиротиной», причитая «защо тебе сплюндровано, защо мамо гинеш?», он имел в виду не революционно-народническое объяснение причины, по которой она «гинет». Тарас Григорьевич в таких случаях наглухо забывал о крепостном праве и о барине-угнетателе.

Украино, Украино!
Сирце мое, ненько!
Як згадаю твою долю,
Заплаче серденько!
Де подилось козачество,
Червони жупани,
Де подилась доля-воля,
Бунчуки, гетмани?

Вот истинная причина «недоли». Исчез золотой век Украины, разрушен идеальный государственный строй, уничтожена козачья сила. «А ще то за люди були тии запорожци! Не було й не буде таких людей!»

Всю жизнь он бредил чубами, бунчуками, как Дон Кихот рыцарскими мечами и шлемами. Кто умеет отличать в творчестве поэтов главное от второстепенного и нехарактерного, согласится с тем, что запорожская нота составляет суть шевченковской поэзии. Лучшее в его стихах связано с нею. Надо только извлечь эти стихи из его плохих риторических и слезливых поэм. Собранные вместе, они составят скромный, но душистый букет, имеющий шансы никогда не увянуть. Все написанное в духе Жуковского и Козлова («Тополя», «Утоплена», «Причинна», «Катерина», «Москалева криница» и др.), а также банальные причитания по поводу неправды, царящей в этом мире, способны восторгать глухую провинцию. Только строки, посвященные козачьей теме, отмечены поэтическим напряжением. Мир, созданный в них, — нереальный, никогда не бывший, исторической правды в нем нет, но есть прав-

да художественная. Это редкий случай обливания слезами над собственным вымыслом. Говорят, это и есть верный признак поэзии. Она всегда мечта, всегда устремление к неуловимому, к нереальному, к небывшему.

Что бы ни говорили поклонники советской точки зрения, лира Шевченко не «гражданская» в том смысле, в каком это слово принято у нас. Она глубоко ностальгична и безутешна в своей скорби о пригрезившихся ему героических временах. Без конца звучит рефрен об их невозвратности.

Не вернутся запорожци
Не встанут гетмани
Не покроют Украину
Червони жупани.

Полжизни готов отдать он, чтобы забыть «незабутни» дела запорожцев, не вздыхать при виде их высоких могил (скифские курганы он по незнанию принимал за козачьи погребения), не плакать над руинами Чигирина, Батурина и всех гетманских резиденций. Эта скорбь о славном прошлом, вместе с ненавистью к тем, которые его погубили, сделала Шевченко национальным поэтом не только в глазах левобережных помещиков, потомков Палиев и Гамалиев, но также и среди интеллигенции, Кирилло-мефодиевские друзья, такие, как Костомаров, Кулиш, Белозерский, Гулак, были не меньшими козакоманами, чем сам Шевченко.

* * *

Большинству читающей публики, не знакомой со специальной литературой, трудно понять, почему Шевченко и весь нарождавшийся в его время украинский национализм обратились в поиски «великих эпох», к козачьему периоду истории, а не к древнему Киевскому государству, чей блеск и величие бесконечно ярче и пышнее? Почему предками себе избрали не Святослава, Владимира, а Кошку, Подкову, Наливайко?

Вопрос этот — ключ к пониманию творчества Шевчен-

ко. В его судьбе сыграл исключительную роль литературный памятник начала XIX века, почти неизвестный ныне по той причине, что издан был всего один раз, в 1846 г. в журнале, мало доступном широкой публике. Но в 20—30-х годах прошлого столетия он в огромном количестве списков расходился по всей России. Пушкин напечатал его отрывок в своем «Современнике».

Это — знаменитая «История Русов», известная первоначально под именем «Летописи Конисского» — одна из фальсифицированных историй Малороссии, не имеющая равных во всем мире, до того беззастенчиво извращены в ней и факты, и общая картина исторического процесса. Благодаря ряду особенностей, прежде всего, прекрасному русскому языку карамзинской эпохи, которым она написана, «История» имела огромный успех. Немало ему способствовало и то обстоятельство, что научное изучение малороссийской истории в то время еще не начиналось, источники не были выявлены и отобраны, даже отчетливой хронологической канвы не существовало. По этой причине фантастическое повествование о прошлом южной Руси принималось за подлинную историю края. Недавно умерший самостийнический историк И. Борщак не так уж неправ был, когда писал, что ни украинец, ни средний русский человек, ни иностранцы, вплоть до настоящего времени, не знают другого прошлого Украины, кроме того, которое преподнесено в этом произведении.

Нет возможности в краткой статье дать его обзор или характеристику. Важно отметить, что никакого Киевского Государства, основанного Олегом, Святославом, Владимиром и простиравшегося от Черного до Белого морей, «История Русов» не знает. Малороссия — издревле запорожская страна, мудро управлявшаяся козаками, — дворянским сословием, называвшимися «отчичами или вотчинниками от слова и власти взятых по древним патрициям, то есть отцам народным». Будучи сословием воинским, они затмили храбростью и подвигами всех древних и новых героев. Их право владеть землями и крестьянами подчеркивается с особенной настойчивостью. Но едва ли не

самая большая часть книги отведена антирусским анекдотам, рассказам и сентенциям. Нет числа описанию москальских зверств, притеснений, лихоимства и всяческих надругательств над украинцами; тут и воеводские поборы, и закрепощение крестьян, и расхищение земель, и бесчеловечное обращение вельмож с крепостными, вроде тех, что позволял себе какой-то брат Бирона в стародубском уезде. Когда Шевченко впоследствии захотел подвести им итог, он это выразил стихами:

Ляхи булы, усе взяли,
Кровь повыпивали,
А москали и свит билий
В путо закували.

Не подлежит сомнению, что уже тогда «История Русов» стала ему известной и нашла в его лице своего идеального читателя. Недостаток образования, страстность натуры, мучительное искание объяснения своего трудного положения — все благоприятствовало принятию «летописи», как откровения. Она разрешила его недоуменные вопросы, объяснила, «чия правда, чия кривда и чии ми дити».

По словам Драгоманова, ни одна книга, кроме Библии, не производила на Т. Г. такого впечатления, как «История Русов». Он брал из нее целые картины и сюжеты. «Иван Пидкова», «Гамалия», «Тарасова Нич», «Чернец» — образцы такого заимствования. Имеем признание и самого Шевченко относительно впечатления, произведенного на него «Историей Русов». Есть у него повесть «Близнецы», написанная по-русски, там рассказывается о некоем Никифоре Федоровиче Сокире, украинском помещике, большом почитателе этого произведения. «Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней, и кроме летописи Конисского не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставлял я ее раскрытою. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Все, все мер-

зости, все бесчеловечья польские, шведскую войну, Биронова брата, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни, — и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет, закроет книгу и еще раз плюнет».

Надо ли пояснять, что переживания Никифора Федоровича были переживаниями самого Шевченко? Для него, как для всех националистов, «История Русов» служила прежде всего энциклопедией москальских «мерзостей». Под ее влиянием он усвоил взгляд на присоединение Малой Руси к Москве, как на черный день в истории Украины, и поедом ел Богдана Хмельницкого, мнимого виновника присоединения.

Отакє то Зиновію,
Олексієв друже,
Ты все отдав приятелям,
А им и байдуже.

Ни истинной роли Богдана, ни смысла поднятого им восстания он, конечно, не понимал. Великое освободительное значение Хмельничины, как войны крестьянства против помещичьего рабства, укрылось от этого крепостного крестьянина. В акте присоединения он видел простое предательство гетмана, а о голосе многомиллионного посольства, требовавшего перехода от Польши к России, кажется, ничего не слышал. В московском периоде истории его опять-таки печалит судьба не крестьянства, а козачества, он больше плачет о разгоне Сечи, чем о введении нового крепостного права. Возмущаясь тем, что «над дитьми козацкими поганцы панують», он ни разу не возмущился панованием детей козацких над его мужицкими отцами и дедами. Вообще история Украины после присоединения представляется чрезвычайно простой — сплошное обдирание. «Москалики що заздрили, то все очухрали».

* * *

«Обливание грязью Шевченко»... Когда защитники советской точки зрения бросают такие слова по адресу всякого, кто напоминает о русофобии «великого кобзаря» — это понятно, как прием. Но от людей, претендующих на звание «литературоведов и критиков», можно требовать, чтобы, прибегая к таким приемам, они не забывали уплачивать литературоведческий долг и давали свое высокое толкование высказываниям столетней давности. «Обливать грязью» поэта начали его друзья и самые что ни на есть столпы украинизма. П. А. Кулиш писал, что тень поэта «должна скорбеть на берегах Ахерона о былом умоисступлении своем», разумея под умоисступлением злобные выпады против России. Об этом же писал в тоне строгого осуждения Драгоманов. Не лишне напомнить, что вся самостоятельная печать боготворит Шевченко прежде всего за его русофобию.

Трудно понять, как это человек, терпевший на родной Украине одни невзгоды, мог называть облагодетельствовавший его Петербург «чужиной», да не какой-нибудь, а трижды проклятой. Как-никак, он получил здесь и свободу, и образование, и приобщение к культурной среде. Петербуржцами же вызволен был впоследствии из ссылки. И все-таки не мог пройти мимо памятника Петру без злобного ворчания по адресу «первого» и «второй» (Екатерины).

Що тоя царица
Лютий ворог України
Голодна волчица.

Жалуясь Основьяненку на свое петербургское житье («кругом чужи люди»), он вздыхает: «тяжко батько, жити з ворогами».

Друзья поэта давно пытались смягчить эту черту в глазах русского общества. Первый его биограф, М. Чалый, объяснял все влиянием польской швеи — юношеской любви Шевченко, но вряд ли такое объяснение можно признать серьезным. Антирусскость Т. Г. не от жизни, не от личных переживаний, а от книги, от национально-политической проповеди. По словам Кулиша Шевченко пострадал

от той первоначальной школы, «в которой получил то, что в нем можно было назвать *faute de mieux* образованием»; он долго сидел «на седалище губителей и злоязычников».

Впрочем, в молодости Кулиш не только превозносил Т. Г. за его козакоманию и за вытекавшую отсюда антирусскость, но и сам был большим поклонником козацкого национализма. Портреты их обоих, как двух пророков «национального возрождения» висели рядом во всех украинофильских домах. Но в 60-х гг. Кулиш почувствовал неладное в своих представлениях о прошлом Украины и на добрых десять лет исчез со страниц печати, погрузившись в изучение исторических источников. Результатом был целый умственный переворот. Он с ужасом убедился, что служил ложным богам, и пересмотрел все свое прежнее творчество и творчество покойного друга. Через 15 лет после его смерти он писал: если «само общество явилось бы на току критики с лопатой в руках, оно собрало бы небольшое количество стихов Шевченко в житницу свою; остальное было бы в его глазах не лучше сору, его же взметает ветер от лица земли».

Воспетое им «козачество» предстало Кулишу в свете трезвой истории не рыцарями, не демократами и не борцами за Украину, а величайшими ее врагами, степными хищниками. Эпоха их господства на Украине после 1654 г. была временем неслыханного грабежа населения, массовой гибели его в бесчисленных козачьих смутах, а при Дорошенке — отправкой десятков тысяч на турецкие невольничьи рынки. Оно же было виновником установления нового крепостного права, «хуже лядского». Кулишу отныне стало казаться фальшью всякое воспевание людей, в которых он видел разбойников и лихоимцев и новых крепостников-помещиков. Он вступил в стихотворную полемику с покойным другом, с его утверждением, будто козачья слава «не поляже».

Не поляже, кажешь, слава?
Ни, кобзарю брате
Прокляла свое козацтво
Украина мати.

Сходную с Кулишем эволюцию претерпел Костомаров. Только в преклонном возрасте и после усиленных занятий историей оба они освободились от гипноза «Истории Русов». Шевченко же так и умер под этим гипнозом.

* * *

Автор «Истории Русов» не установлен, называют имена лубенских помещиков Григория Полетики и сына его Василия, но были ли они авторами или только вдохновителями предприятия — неизвестно. Несомненно, роль их в появлении «Истории Русов» была первостепенной. Полетики происходили из семьи, в которой долго жили предания козачьей старшины и крепостнические традиции. Гр. Полетика выступал откровенным сторонником закрепощения украинского крестьянства в комиссии по составлению нового уложения. Таков же был группировавшийся вокруг него кружок левобережных помещиков.

Это была численно небольшая, но хорошо спевшаяся фронда, мечтавшая о возвращении гетманского уряда. Разбужена она была проверкой при Екатерине шляхетских прав малороссийского дворянства, каковых большая часть не имела. Оппозиционный кружок выразил свое недовольство посредством воскрешения идеологии умершего козачества и его ненависти к Москве в форме памфлета, приписанного архиепископу Г. Конисскому. Было создано евангелие украинского национализма. Зерно его оказалось не «буржуазное», как учит марксизм, а дворянское, крепостническое.

Тарас Григорьевич, достаточно воспитавшийся еще в Петербурге на «Истории Русов», попал в 1843 г. в ту среду, из которой вышло это произведение. Это и были те «злослышники», о которых писал Кулиш, — остатки кружка Полетики, принявшие поэта, как свое детище. Все наиболее националистические и антирусские произведения, вплоть до кровавого «Заповита», написаны в этот период. Некоторые помечены названиями усадеб, в которых гостил поэт, — «Мосеевка», «Вьюница» и т. д.

Сколько бы ни провозглашали его большевики и самостоятники «национальным» украинским поэтом, он был и остается всего лишь поэтом козачества — ничтожного меньшинства украинского населения, ныне исчезнувшего. Идеология его, изложенная в «Истории Русов», сделалась программой украинского сепаратизма и, принятая советской властью, проводится в жизнь мощью советского государственного аппарата.

ОДИН ИЗ ЗАБЫТЫХ

Насколько могу судить, очерк «Жизнь и деятельность Мих. Драгоманова», напечатанный в 71 книге «Нового Журнала», — едва ли не единственный за последние двадцать пять лет посвященный памяти человека, которого П. Б. Струве назвал когда-то «подлинно научным социалистом». Самостийничество давно наложило на него опалу, а в социалистическом лагере имя его не положено упоминать. И это не потому только, что он не марксист, а скорей лассальянец, но потому, что уравновешенная, высококультурная личность руководителя «Громады» представляла контраст с господствовавшим на Руси психологическим типом социалиста и революционера.

Ни «фанатик», ни «маньяк», ни «доктринер» решительно не подходят к нему. Среди тогдашней политической интеллигенции вряд ли можно найти человека, отличавшегося большей умственной и духовной свободой. Все фальшивое, «злоумышленное», в каком бы лагере ни обнаруживалось, находило в нем своего врага.

Мне уже приходилось писать, как он счистил грубую позолоту с иконы, именуемой «Шевченко». Он же первый из русских социалистов разоблачил ложный характер революционной польской шумихи в Европе. Запад, по его словам, знал лишь одно обращенное к нему скорбное лицо угне-

тенной Польши, но не видел и не хотел видеть другого, угнетательского, обращенного на Восток, где она столетиями душила четыре народности и, уже расчлененная, думала только о том, как бы не выпустить их из когтей. Заигрывая с русскими террористами, с германскими социал-демократами, строя глазки социалистам всего мира, она у себя дома грозила смертью каждому ненациональному социалисту.

Надобно вспомнить всеевропейское покровительство полякам, восторженную герценовскую любовь к ним, парижскую речь Бакунина и традиционный союз с Польшей русской революции, чтобы понять, какой силой и независимостью надо было обладать, чтобы восстать против этого божка.

Не меньшее мужество требовалось для защиты России от расчленительских призывов К. Маркса. Это почти фантастический случай. Можно ли представить сейчас самоистийника, не приветствующего идеи раздела России, откуда бы она ни исходила? Между тем, из всех социалистов того времени один Драгоманов, «украинский националист», выразил возмущение выходкой Маркса, потребовавшего в 1864 г. включения в число задач Международного товарищества рабочих, наряду с вопросами о труде и капитале, о рабочем дне, о женском труде и проч. — частной политико-национальной задачи: «о необходимости уничтожить влияние русского деспотизма в Европе посредством приложения права народов располагать самими собою и посредством восстановления Польши».

Даже французы (прудонисты), доказывавшие, что дело рабочего интернационала — одинаково добиваться свободы во всех странах, а не объявлять войны одному какому-нибудь государству — были шокированы низведением идеи самоопределения народов до простого практического средства разрушения неугодного государства.

Что касается русских социалистов, следивших за женевскими дебатами, то их симпатии были, конечно, на стороне Маркса. Да они и без Маркса ни о чем так не думали, как о всемерном уничтожении России. Группа студентов и кур-

систок (к ним принадлежала и Вера Фигнер) писала в начале 70-х годов в своем женевском листке: «нужно приняться за дело великое — разрушить государство русское и устроить свой вольный союз рабочих общин».

* * *

Автор очерка В. Дорошенко, рисуя Драгоманова исключительно деятелем украинского националистического движения, почти забывает о его социализме. Между тем Драгоманов больше всего ценил в себе именно социалиста и был противником выведения общественных и государственных идей «з почуття національного, з душі етнографічної». Потому украинские националистические круги и отшатнулись от него, а в Галиции откровенно преследовали, как опасную москальскую заразу.

В самом деле, в социалистической своей ипостаси он принадлежит истории русской интеллигенции: сложился и воспитался на декабристах, на Герцене, на шестидесятниках. Учителей своих не особенно любил и не уважал, больше отталкивался от них в своей деятельности, чем брал за образец, но генетически связан с ними, и в этом смысле имеет все права считаться «русским».

Но это был не тот русский бунтарь, напищенный чужой мудростью, проникнутый бессмысленной страстью к разрушению во что бы то ни стало, противопоставивший либеральным реформам Александра Второго кровавый кошмар террора и революций. «Революция», «ниспровержение», «уничтожение» отсутствуют в его словаре; всегда — «реформа» и «преобразование». Нет у него и роковой черты русской интеллигенции — «перепрыгивания через пройденные этапы». Не по этой ли причине он так мало говорит о своем социализме? Он как бы держит его про себя, не торопясь с пропагандой. Трезвый, не затуманенный утопиями и политическими фантазиями, ум его ясно видел, что мечтать о социализме в России можно после того, как там появится соответствующая гражданственность, экономика и просвещение, а до тех пор надо работать над

скорейшим появлением этих условий. В этом случае он сильно напоминает Н. И. Тургенева, единственного декабриста, возражавшего против бредовых проектов военного переворота и настаивавшего на освобождении крестьян, как первой и главной задачи деятельности тайных обществ.

* * *

«Подлинно научным социалистом» назвал его П. Б. Струве, конечно, в пику марксистам, претендующим на отождествление своей доктрины с научной истиной. Научность Драгоманова не в партийной талмудической учености людей типа Плеханова, а в дисциплине мышления, в умственной культуре, в широте взглядов, в зрелищности и разумном пользовании плодами науки. Этими чисто интеллектуальными свойствами определялось и отношение его к русскому государству.

В. Дорошенко скрыл от читателя, что Драгоманов не только не проповедовал ниспровержения государственного строя революционным путем, но и сепаратистом никогда не был. Право на отделение он признавал в принципе за каждым племенем, «за каждым селом», но был противником бессмысленного, никакими реальными потребностями не вызванного отделения одного народа от другого. Прогрессивное значение исторически сложившихся великих европейских государств было ясно ему в полной мере; раздробление их он считал культурным и политическим бедствием. В малороссийском крае, по его словам, и не было тенденций к отделению от России; народ об этом не помышлял, если же какая-то кучка питала подобные намерения, то это до того ничтожное меньшинство, что его и во внимание принимать не приходится.

«Отделение украинского населения от других областей России в особое государство, — по мнению Драгоманова, — есть вещь не только, во всяком случае, очень трудная, если не невозможная, но при известных условиях вовсе ненужная для каких бы то ни было интересов украинского народа». Национальных свобод полнее и успешнее

можно добиться не на путях сепаратизма, а в недрах российского государства. Под «освобождением украинского народа» он разумеет общероссийские реформы и преобразования. Достаточно добиться прав человека и гражданина, чтобы тем самым оказалась приобретенной большая часть прав национальных. Если же к этому прибавить широкое самоуправление — общинное, уездное и губернское, то никакого другого ограждения неприкосновенности местных обычаев, языка, школьного обучения и всей национальной культуры не приходится искать. «Политическая свобода есть замена национальной независимости». Этим лозунгом проникнут весь его «Опыт украинской политико-социальной программы».

* * *

В. Дорошенко поднес нам не портрет Драгоманова, а чью-то тусклую, бесцветную и донельзя замазанную физиономию. Тема, которая могла бы быть озаглавлена как «драма жизни» М. П. Драгоманова, обойдена совершенно. Нам ни одним намеком не постарались объяснить, почему этот человек, именовавший себя социалистом, не сошелся ни с одной тогдашней социалистической группой, был украинским националистом, но едва ли не больше всех воевал как раз с украинскими националистами? При всем том ничего «тяжелого» в его характере не было, человек был обаятельный. Трагизм его заключался в непривычном для того времени понимании национального вопроса. В какой-то мере он может считаться предшественником Отто Бауэра. Правда, никогда он не считал национальность высшей категорией и не шел далеко подобно Бауэру в отождествлении социализма с национальным развитием, но это национальное развитие представлялось ему залогом успеха социалистического движения. Хранителем духовного типа каждой нации он считал простой народ — крестьян и рабочих; они же представлялись необходимым условием и социалистического движения.

Пробуждение национальных чувств казалось прекрасным

средством для вовлечения широких масс в политическую активность, а участие трудящихся в политике всюду означало одно и то же — требование обеспечения труда и пользования его результатами. Особенно важно всколыхнуть крестьян. «Рабочее сословие уже вошло в сферу международной жизни, — писал он, — выступление на политическую сцену просвещенного крестьянства только усилит движение, начатое рабочим классом».

Украинский национализм, в его представлении, должен начинаться не с воспевания галушек, а с «просвещения» мужика и с привлечения его к общественной деятельности.

На каком языке просвещать, это в значительной степени безразлично; если существует тяготение к русскому или к польскому, то можно и на них. Драгоманов все же убежден был, что для просвещения малороссийского крестьянина наиболее подходящ местный разговорный язык. Работа в деревне представлялась не националистической, а политической пропагандой, и главной темой разговора на «ридной мове» должно быть правовое и экономическое положение мужика. Конечная цель — превращение крестьян в «европейцев украинской национальности».

Царское правительство лучше всех поняло смысл такого учения. Когда говорят, будто оно боялось украинского сепаратизма, это неверно, оно боялось мужицких бунтов. Хуже обстояло по части понимания в самой «Громаде». Там были хорошие филологи и историки, вроде Житецкого, Лазаревского, Антоновича, этнографы и статистики, вроде Чубинского, писатели, музыканты, собиратели народных песен, но там не было политически образованных и политически мыслящих людей. Если они шли за Драгомановым, слепо подчиняясь его авторитету, то вряд ли разбирались в его воззрениях. Стоило ему уехать и весь социалистический флер как ветром сдуло. Под ним обнаружился самый вульгарный «формальный» национализм. Но если в Киеве, в приятельской среде, Драгоманов не чувствовал себя окончательно одиноким, то с переездом в Галицию начались подлинно трагические испытания.

Не знаю, на чем основывается Дорошенко, утверждая,

будто «участие в жизни Галиции сделалось душевной потребностью Драгоманова», будто «Галиция стала для него второй родиной, не менее дорогой, чем его родная Полтавщина». Если это не насмешка, то явное искажение фактов. Не успел он появиться в Галиции, как был до того дружно взят в штыки тамошними националистами, что в том же 1877 г. бежал в Женеву, чтобы не попасть под арест. По прошествии 13 лет, в 1889 г., снова едет во Львов редактировать «Батькивщину» и снова его сотрудничество с народо́вцами длится всего несколько месяцев, после чего он окончательно покидает Галицию. Когда это она успела сделаться для него «второй родиной»? «Мне пришлось претерпеть ужасные муки в борьбе с народо́вцами», — признавался впоследствии Драгоманов.

Это не первый случай сотрудничества с «закордонными братьями». В начале 80-х годов П. А. Кулиш, проживший в Галиции несколько лет, с отчаянием восклицал: «О рибалди флагитиоси! Я приехал в вашу подгорную Украину оттого, что на днепровской Украине не дают свободно проговорить человеческого слова, а тут мне пришлось толковать с телятами. Надеюсь, что, констатируя факты способом широкой исторической критики, я увижу перед собой аудиторию получше. С вами же, кажется, и сам Бог ничего не сделает, такие уж вам забиты гвозди в голову».

Гвозди были крепко забиты, но в роли «телят» выступали сам Кулиш и ему подобные. Это они не знали, что делали, а народо́вцы свое дело знали. Днепровским мечтателям в голову не приходило, что во Львове их встречали не «братья», а хорошо подобранная и хорошо вытренированная группа прямых предшественников современных бандеровцев, на которую возложена была важная задача — охранять край от москвофильства и социализма. Не трудно представить реакцию этого детища польских аграриев и австрийского чиновничества на драгомановский «национализм», понимаемый, как борьба галицийского крестьянства с польскими помещиками. Он был немедленно объявлен агентом царского правительства, задумавшего оттор-

жение Галиции от Австрии с помощью революционной пропаганды.

Непонятно, как мог пройти мимо драгомановской характеристики народовства, как «австро-польской победоносцевщины». Эта замечательная характеристика, подтвержденная всей последующей историей, — замята, замолчана и до сего дня скрывается от широкой публики.

Ни Пыпин, ни Чернышевский, просвещавшийся по части галицийских дел своими друзьями-поляками, ни тем более, днепровские громадяне, вся услада которых была — «спивать про Сагайдачного» — понятия не имели об истинном лице народовства. Только Драгоманову сразу стало ясно, что порождена эта группа не естественным развитием местного общества, а сфабрикована врагами галицийского народа, и убеждать ее «способом широкой исторической критики», дело безнадежное. Он первый в русской и украинской публицистике разоблачил реакционную природу галицийского национализма.

* * *

Но почему он, враждебный с самого начала русской победоносцевщине, прилагал так много усилий и доброй воли для сотрудничества с победоносцевщиной австро-польской? Почему, убежав от нее в Женеву, продолжает следить за львовскими делами, поддерживает переписку, вербует сторонников и тратит усилия, чтобы создать свою фракцию в народоветском лагере? Виктор Шкловский как-то сравнил генерала Корнилова, принявшего командование над развалившейся русской армией, с шофером, у которого вышел весь бензин и он увлекся идеей пустить машину на скипидаре.

Что-то похожее было в поведении Драгоманова. Заведомо зная, с кем имеет дело, он упрямо старался высечь из реакционного народоветского кремня социалистическую искру. Под конец ему и удалось кое-что; во Львове образовалась радикальная группа. Но что за успех?! Группа состояла из такого негодного материала, так бедна была во всех

своих проявлениях, что после смерти Драгоманова легко сведена на нет оппортунистом Грушевским. Никаким серьезным вкладом в галицийскую общественную жизнь ее нельзя признать. Не стоило родиться Драгомановым, чтобы украсить свою биографию таким достижением.

По уму и по дарованиям он имел все права стать деятелем всероссийского масштаба; вместо этого громадный талант, ученость и силы растрочены были на ниве провинциальной, с почвой, на которой ни одно из брошенных им семян не дало всходов.

Но почву эту он избрал сознательно и сознательно отказался от всероссийской роли. В этом объяснение всей его судьбы.

Что представлял собой украинизм до 1917 г.? Простой народ его не понимал. Интеллигенция же на 99 процентов состояла из людей, не отделявших себя от общерусской интеллигенции. Та ее часть, что увлеклась революционными настроениями, шла не в «громады» и «спилки», а в тот же лавризм, в нечаевщину, в землевольчество, народвольчество, в черные переделы. Общероссийское революционное движение как магнит втягивало в свое поле все частицы металла, оставляя украинским группировкам шлак и аморфные породы. Об этих людях, шедших в русскую революцию, но не достаивавших вниманием украинофильские кружки, Драгоманов с горечью писал: «Они-то сделали украинскую интеллигенцию иностранцами дома, они-то и лишают социалистов и даже народников из украинцев всех необходимых знаний и вообще способов к тому, как подойти к украинскому населению. Небольшое же количество специализировавшихся социалистов-украинцев бессильно в практическом отношении».

Драма этого человека заключалась прежде всего в сознании непопулярности и неуспеха украинского движения «у себя дома». Украинцы типа Желябова и Кибальчича, не обладавшие и четвертой долей ума и дарований Драгоманова, давили своей популярностью на Украине все «громады» вместе взятые. И это благодаря общероссийскому характеру своей деятельности. Крестьяне не хотели «хлоп-

ского» образования на украинской мове, требуя себе такого же «панского», какое получали помещики и горожане — по-русски. Казалось бы, сама история подсказывала кратчайший путь к формированию «европейцев украинской национальности». Но Драгоманов упорно не вступал на него, желая остаться «специализировавшимся социалистом-украинцем».

То же продолжалось по отъезде в Галицию.

* * *

Со словом «галичанин» у нас в эмиграции связывается нечто до того русофобское, что многие, вероятно, с недоверием отнесутся к рассказу о прорусских симпатиях в Галиции, неизменно возраставших вплоть до 1914 г. Но ими был захвачен как простой народ, так и большинство галицийской интеллигенции. После «Русалки Днестровой» — первого опыта национального пробуждения на местном русинском наречии, многие поняли тщетность и ненужность таких попыток. Особенно проникся этими убеждениями главный составитель сборника — Яков Головацкий. Пришли к заключению, что при наличии развитых польского и русского языков, галичанам нет необходимости создавать свой особый литературный язык. Надо выбирать между этими двумя. Вспомнили, что Галиция коренная область древнего русского государства и что галицкая культура была культурой общерусской. Началась тяга к русскому языку и к русской литературе, возникли русские журналы и газеты. Сам Головацкий редактировал «Слово», сделавшееся главным органом русофильского движения. Конечно, русский язык этих изданий оставлял желать лучшего, но важна была сама тенденция. Здесь не место давать очерк галицкого москвофильства; абсолютное его преобладание над австро-польским народовством неоднократно отмечалось в писаниях Драгоманова. «Сам» Грушевский не мог замолчать этого факта и вынужден был признать, что «москвофильство охватило почти всю тогдашнюю интеллигенцию Галиции, Буковины и Закарпатской Украины», что «в руках

москвофилов находились все национальные организации и в Галиции, и на Буковине, не говоря уже о Закарпатской Украине, а «народовство» конца 1860 и затем 1870 годов представлено было небольшими лишь кружками». Позднее, как при выборах в Райхстаг, так и на местных выборах, москвофильский лагерь имел постоянное преобладание над народовцами.

Неизвестно, чем бы кончилась эта борьба партий, если бы не первая мировая война. Москвофильство подверглось уничтожению в первые же дни августа 1914 г. Что не было расстреляно в это время и не умерло в лагерях — было добито в 1915 г., после отступления из Галиции русской армии. Окончательный удар нанесен ему приходом к власти большевиков в России — давнишних союзников народовства, а потом арестами и ссылками в Сибирь в 1939—1941 гг. Постепенно выясняется, что первыми жертвами НКВД в эти годы сделались остатки москвофилов.

Невозможно допустить, чтобы Драгоманов не понимал, на каком языке успешнее могло пойти пробуждение галичан к гражданской, политической жизни. Он и писал об этом откровенно; впоследствии признавался: «ни один московский славянофил не распространил в Галиции столько русских книг, сколько я, «украинский сепаратист».

И все-таки связей искал и политику делать хотел не в лагере, желавшем говорить по-русски, а среди народовцев. Как на Украине, так и здесь, он шел к своей социалистической, «космополитической» цели не простым и кратчайшим путем, а наиболее затрудненным, наименее успешным. Это был неудачник в политике и, конечно, больно переживал свое неудачничество.

Биографы, конечно, выяснят сокровенные причины его драмы.

В статье В. Дорошенко много умолчаний, но много и неточностей. Говорится, будто журнал «Громада», выходящий в Женеве, печатался наполовину по-русски, тогда как он полностью издавался по-украински. Неверно и о постановлении комиссии 1876 г., якобы «запретившей печатание каких бы то ни было произведений на украинском языке».

На самом деле запрет не распространялся ни на стихи, ни на беллетристику, ни на исторические памятники. Все это могло печататься по-украински, как прежде. Преувеличивается и влияние постановлений комиссии 1876 г. на отъезд Драгоманова. «Громада», по словам Дорошенко, «решила послать Драгоманова за границу, чтобы защищать украинское дело», которому в России чинили препятствия.

Сам Драгоманов дает иное объяснение. Конечно, украинское дело он продолжал и за границей, но сокровенные мотивы эмиграции вытекали из «космополитических» побуждений. Как ни странно, угрозу для социалистического дела он видел в либеральных реформах Александра II. «Практическая будущность на ближайшее время, — писал он, — принадлежит в России тем своего рода политическо-социальным оппортунистам, которые не замедлят в ней появиться среди земств и для которых теперешние социалисты-революционеры только расчищают дорогу». Он предлагал всем «чистым» социалистам «теперь же перенести свою деятельность в страны, где предстоящий России политический вопрос так или иначе уже решен».

В национальном плане его отъезд может рассматриваться, как констатация неудачи украинофильского движения, оказавшегося неспособным увлечь ни народ, ни интеллигенцию. Безучастной осталась Украина и к новому «письменству», — читала Гоголя, Тургенева, Достоевского, но в руки не брала Чайченко, Конисского, Левицкого-Нечуя. При таком положении единственной надеждой оставалась Галиция. Быть может, там удастся возжечь священный огонь украинизма. Запреты 1876 г. послужили хорошим предлогом для перенесения деятельности «за кордон», но они вовсе не были ее истинной причиной. Поездки в Галицию и сотрудничество в тамошней печати начались задолго до 1876 г., даже до валуевского запрета 1863 г. И начала печататься там как раз та категория «письменников», которая никаким запретам в России не подвергалась, — беллетристы. Драгоманов объясняет этот факт единственно бесталанностью оных беллетристов. Потерпев фиаско у себя дома,

они захотели блеснуть в Галиции. Сам он, человек серьезный и скромный, ехал туда не для «блеска», но у него, как у писателей, главной задачей было обретение аудитории и благодарного поля деятельности.

* * *

Что же до комиссии 1876 г., то инициативу ее Дорошенко напрасно приписывает Александру II и правительственным верхам. Верхи действовали вяло, медленно и согласились на образование комиссии, главным образом, под влиянием тревоги, поднятой в Киеве. Инициатива исходила от самих украинцев. В самостийнической печати обычно представляют их, если не откровенными москалями, то «карьеристами», «реакционерами». Между тем, любовь их к малороссийскому краю, к его старине, слишком хорошо известна. М. В. Юзефович, главный заводчик всему делу, был даже причастен к «Громаде», к ученым и литературным начинаниям киевского отдела Географического общества. Под его редакцией вышло несколько томов Актов Южной и Юго-Западной России. И в карьеризм его плохо верится. Когда-то, в 1840 г., он занимал должность помощника попечителя учебного округа, но к началу 70-х годов жил на покое в отставке и вряд ли искал чинов и служб.

Причина аларма, поднятого им в Киеве в 1875 г., заключалась в том, что он до смерти боялся расчленения России. Он принадлежал к числу тех, которые не отделяли малороссийского патриотизма от патриотизма общерусского.

Это он автор знаменитого выражения «Единая Неделимая Россия», написанного по его предложению на памятнике Богдану Хмельницкому. Нападая с такой злобой на этот лозунг, самостийники, видимо, не подозревают о его украинском происхождении, так же как их противникам часто невдомек, что «реакционер» Юзефович заимствовал его у французских якобинцев: “La republique est une et indivisee”.

В изображении Грушевского дело выглядит так: Юзефович, рассорившись со своими коллегами громадянами, побежал к властям с доносом и не успокаивался до тех пор, пока те не учредили комиссию. Ссора, действительно, имела место, но прежде чем бежать к властям, Юзефович долго полемизировал с друзьями, писал статьи, разоблачая неблаговидные приемы их пропаганды. Это благодаря ему обнаружился скандал с переводом «Тараса Бульбы» на украинский язык, где переводчик Лобода позволил себе вставить в текст слова и фразы политического характера, не принадлежащие Гоголю. За внешне невинной культурнической деятельностью Громады Юзефович усмотрел призрак отделения Малороссии от России. Страхи его вряд ли имели серьезные основания, но верно и то, что тогдашняя обстановка способна была перепугать не одного Юзефовича.

В Вене, по словам Драгоманова, начали примеривать к Украине корону св. Стефана Угорского, заводили речь о «Киевском королевстве». В заседаниях галицийского Сейма открыто говорили «про можливість Ukrainian conventione polityчно до Австрії, як релігійно до Риму». Народовская, польская и австрийская печать запестрела сообщениями о народном недовольстве и о тайной австрофильской партии на Украине. Хотя мы теперь знаем, что такой партии не существовало, но какие-то политические авантюристы в Громаде были. Намек на это находим у того же Драгоманова, признававшего наличие «двух-трех масок, размахивавших картонными мечами». Если прибавить к этому установленный факт ввоза из Галиции литературы, призывавшей к отделению от России, то причин для страхов было достаточно.

За Юзефовичем и Ригельманом стоял целый слой таких же, как они, украинских охранителей целостности России. Разбирая представленный им материал и вынося запретительный указ, комиссия считалась с господствовавшим на Украине общественным мнением, которое не только не воспринимало этот указ как «национальное угнетение», но желало его и одобряло.

Указ 1876 г. никому кроме самодержавия вреда не принес. Для украинского движения он был манной небесной, так как, не причиняя никакого реального ущерба, давал ему долгожданный венец мученичества.

Чуть не на другой день началось постепенное аннулирование указа по ходатайству харьковской и киевской администрации. На практике он почти не соблюдался; спектакли устраивались под носом у полиции без всякого разрешения, листки и брошюры печатались и распространялись открыто, власти на все смотрели сквозь пальцы.

Столь же мало вреда принес украинскому печатному слову знаменитый указ Валуева 1863 года. Сейчас, в столетнюю годовщину, уместно было бы поговорить о нем. Скорей можно встретить людей, не знающих, что такое Украина, чем таких, которые бы не слышали про циркуляр Валуева «знижившего украинську мову». Без ссылок на него не обходится ни один самостийнический либо советский учебник истории. При этом не только читателям, но и авторам, не всегда бывает известно, кто такой Валуев. Не знает, кажется, и В. Дорошенко, называющий его министром народного просвещения, тогда как он был министром внутренних дел. В силу этого, Дорошенко вряд ли знает, что подлинный министр народного просвещения А. В. Головин был противником валуевского мероприятия и возражал против ограничений украинской печати.

Именно к этому Головину обратился П. А. Валуев с «отношением» 18 июля 1863 г., уведомляя своего коллегу, что он признал необходимым временно позволять к печати только те произведения на малороссийском языке, «которые принадлежат к области изящной литературы», но ни книг духовного содержания, ни учебников, ни «вообще назначаемых для первоначального чтения народа» — не допускать.

Действие его распоряжений было кратковременно, да вряд ли они и соблюдались строго. Но «отношение» приобрело необычайную популярность по причине слов: «мало-

российского языка не было, нет и быть не может», употребленных Валуевым. Выхваченные и контекста и разнесенные пропагандой по всему свету, слова эти послужили доказательством презрения и ненависти правящей России к украинскому языку. На людей, никогда не читавших самого документа, подобный прием мог бы произвести впечатление, между тем как простое знакомство с ним устраняет всякие домыслы. У Валуева не только не видно презрения к малороссийскому языку, но он признает ряд писателей на этом языке, «отличившихся более или менее замечательным талантом». Он хорошо осведомлен о спорах, ведущихся в печати относительно возможности существования самостоятельной малороссийской литературы, но сразу же предупреждает, что его интересует не эта сторона проблемы, а исключительно соображения государственной безопасности. «В последнее время, — по его словам, — вопрос о малороссийской литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно литературным». Министра беспокоило не малороссийское слово само по себе, а боязнь антиправительственной пропаганды среди крестьян. «Приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п. В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных действиях которых производилось следственное дело в особой комиссии».

Не надо забывать, что выступление Валуева предпринято было под впечатлением волны крестьянских бунтов на юге России и в разгар польского восстания. Его и пугает активность поляков, которым он приписывает идею и практику революционной пропаганды среди малороссийских крестьян. «Большая часть малороссийских сочинений, — по его уверению, — действительно, поступает от поляков».

Будь петербургская бюрократия не столь ленивой и мало-подвижной, ей бы известно было, что не составленные поляками малороссийские книжицы, а русский язык представлял гораздо большую опасность на Украине. Чигиринское дело состряпано было по-русски, рабочее и социал-демократическое движение тоже шло на русском языке, да и для пробуждения украинского национализма поэмы Рылеева сыграли большую роль, чем стихи Шевченко.

Специальное исследование выяснит когда-нибудь, чего стоили эти «книжки для народа» и «учебники». Вероятно, это было нечто весьма убогое по той причине, что в XIX веке украинского языка, на котором можно было бы учить в школах, основывать прессу и писать что-либо кроме стихов, действительно, не существовало. Он представлял простонародное наречие «патуа», словарный состав которого не превышал мужицкого лексикона. Не кто иной, как Драгоманов, дал устрашающий образец применения его в научной речи, переведя известное выражение Аристотеля «человек — животное общественное», как «людина есть звир громадский».

Ни орфография, ни морфология, ни синтаксис не были разработаны, имелся всего один опыт составления малороссийской грамматики, предпринятый в 1819 г. великоруссом Павловским, по его собственному признанию, для того, чтобы спасти кое-что из этого языка, клонившегося к полному исчезновению. Не следует забывать, что и галицийское наречие, объявленное тоже «украинским», было отвергнуто австрийской правительственной комиссией в 1816 г., как непригодное для преподавания в школах, «где должно готовить людей образованных». Ни народовцы, ни громадяне, ни теперешние самостийники с их друзьями ни одного худого слова не сказали об этом австрийском запрете, даже не вспоминают о нем, тогда как валуевский запрет и запрет 1876 г. сделаны притчей во языцех.

Их встретила протестами не столько украинофильская, сколько русская интеллигенция, протестовавшая не из люб-

ви к малороссийскому языку, а для поддержки «прогрессивного фактора», каковым считала всякое националистическое движение (кроме русского). Текстологический анализ документа, конечно, не входил в ее планы. Но пора бы широкой публике познакомиться хоть с той частью «отношения», где приведены знаменитые слова о судьбах малороссийского языка. Принадлежат они, оказывается, не столько Валуеву, сколько самим малороссам. Ссылаясь на затруднения цензурных комитетов, боящихся пропускать книги «для народа» и учебники, поскольку нет еще разрешения преподавать в училищах на местном наречии, министр отмечает: «Самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и то наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказывать противное, большинство самых малороссов упрекает в сепаратистических замыслах, враждебных России и гибельных для Малороссии».

* * *

В самостийнической печати принято не упоминать об этом «большинстве малороссиян» либо объявлять его «прихильниками» царского правительства. Но еще старательнее затемняется то обстоятельство, что противниками выработки нового литературного языка заявили себя многие украинофилы. Знаменитый историк Н. И. Костомаров, посвятивший украинскому движению всю жизнь, отбывавший некогда ссылку за свои республиканско-федералистические убежде-

ния, пробовавший в молодости писать по-украински, занял весьма критическую позицию в отношении искусственно создавшегося нового литературного языка. Он боялся, что такой язык задержит культурное развитие народа и души народной выразить не будет.

Он писал: «Наша малорусская литература есть исключительно мужицкая. Чем по языку ближе малороссийские писатели будут к простому народу, чем менее станут от него отдаляться, тем успех их в будущем будет вернее». По его мнению, языком этим определен успех Квитки, Марко Вовчка, но на нем невозможны ни Шекспир, ни Байрон. Переводы их на украинский язык он считает недостойной претензией. Интеллигентному слою такие переводы не нужны, «потому что со всем этим он может познакомиться или в подлинниках или в переводах на общерусский язык, который ему так же хорошо знаком, как и родное малорусское наречие», простой же мужик не дорос до чтения Шекспира и Байрона. Для перевода таких авторов, да и вообще для литературы, рассчитанной на высокообразованного читателя, необходимо прибегать к обильному сочинительству новых слов, а в этом случае неизбежен отход от народного языка, его искажение и умерщвление. «Любя малороссийское слово и сочувствуя его развитию, — говорил Костомаров, — мы не можем, однако, не выразить нашего несогласия со взглядом, господствующим, как видно, у некоторых малорусских писателей. Они думают, что при недостаточности способов выражения высших понятий и предметов культурного мира, надлежит для успеха родной словесности вымышлять слова и обороты и тем обогащать язык и литературу. У пишущего на простонародном наречии такой взгляд обличает гордыню, часто суетную и неуместную. Создавать новые слова и обороты — вовсе не безделица, если только их создавать с надеждой, что народ введет их в употребление. Такое создание всегда почти было достоянием великих дарований, как это можно проследить на ходе русской литературы. Много слов и оборотов вошли во всеобщее употребление, но они почти всегда появлялись вначале на страницах

наших лучших писателей, которых произведения и по своему содержанию оставили по себе бессмертную память. Так много слов и оборотов созданы Ломоносовым, Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем... Но что случилось с такими, на живую нитку измышленными словами, как «мокроступы», «шарокаталище», «краткоодежие», «четверо-плясие» и т. п.? Ничего кроме позорного бессмертия, как образчика неудачных попыток бездарностей! С сожалением должны мы признаться, что современное малорусское писательство стало страдать именно этой болезнью». Нельзя, по мнению Костомарова, закрывать народу путь к развитию во имя отвлеченной национальной идеи; тяготение к более высокой культуре и образованности он считал законным, неотъемлемым правом человека и общества. Если украинское наречие останется мужицким и не успеет нормальным гармоническим путем развиваться до уровня других литературных языков, то никто не смеет упрекать малоросса за обращение к развитым и родственным культурным языкам, вроде польского или русского. Такое обращение представляется нашему историку более достойным, чем путь создания кабинетным порядком доморощенного языка. «Если малорусскому наречию суждено испариться и исчезнуть, то пусть так будет, лишь бы это произошло по истинному влечению народа без всякого внешнего давления и принудительных способов. Высокий смысл протестов против указов 1863 и 1876 гг. мог бы заключаться как раз в этом ограждении «истинного влечения народа» от принудительных способов. Но русской интеллигенции чуждо было такое понятие свободы; своими протестами она ограждала происки кучки националистов против влечений народа. По этой же причине она не проронила ни одного протестующего слова, когда советская власть в начале 20-х годов учинила величайшее насилие над народом в виде принудительной украинизации.

* * *

Суждения Костомарова вполне разделялись М. П. Драгомановым. Оба горячо протестовали против запретов и ограничений, но оба могли бы подписаться и фактически подписались под словами Валуева: «общерусский язык так же понятен для малоросов, как и для великороссиян». Превосходно рассказал об этом Драгоманов в «Листах до надднепрянской Украины».

В Киеве, в середине 70-х годов, задумано было издание серии популярных брошюр энциклопедического характера на украинском языке. За дело принялись горячо, и на квартире у Драгоманова происходили каждую неделю совещания участников предприятия. Затея, однако, провалилась самым комичным образом, — никто почти из собиравшихся не умел писать по-украински. Первые опыты публицистической прозы предприняты были Драгомановым только через три года, в Женеве, где он стал издавать журнал «Громаду».

По его собственному признанию, он совсем не собирався выпускать его по-украински и должен был переменить намерение лишь под давлением «дуже горячих украинцев». «И что же? Как только дошло до распределения статей для первых книг «Громады», сразу же слышались голоса, чтоб допустить не только украинский, но и русский язык». Драгоманов опять признается, что издание журнала по-русски было бы самым разумным делом, но захотел поставить вопрос «принципиально». Одной из причин его упорства было желание «спробувати силу ширости и енергии українських прихильників Громады». И вот как только удалось настоять на печатании по-украински, началось остывание «дуже горячих». Десять из двенадцати главных сотрудников журнала «не написали в нем ни одного слова, и даже заметки против космополитизма были мне присланы одним украинофилом по-русски. Из двух десятков людей, обещавших сотрудничать в «Громаде» и кричащих, что надо отомстить правительству за запрещение украинской печати в России, осталось при Громаде только четыре. Двум из них пришлось импрови-

зированной способом превратиться в украинских писателей».

Шум в защиту украинского языка поднят был людьми, не знавшими его, не пользовавшимися и, по видимому, не собиравшимися пользоваться им. «Нас не читали даже ближайшие друзья, — признается Драгоманов. — За все время существования женевского издательства я получил от самых горячих украинофилов советы писать по-украински только про специальные краевые дела, а все вообще вопросы освещать по-русски». Эти друзья, читавшие русские журналы «Вперед» и «Набат», не читали в «Громаде» даже таких статей, которые, по мнению Драгоманова, стояли значительно выше того, что печаталось в «Набате» и «Вперед» — статей Подолинского, например. «Для них просто тяжело было прочесть по-украински целую книжку, да еще написанную прозой, и они не печатали своих статей по-украински ни в «Громаде», ни где бы то ни было, тогда как часто печатались по-русски». Такое положение характерно не для одних только 60—70-х гг., но для всего XIX века. По свидетельству Драгоманова, ни один из украинских ученых, избранных в почетные члены галицких народных обществ в 80—90 годах, не писал ни строчки по-украински. В 1893 году он констатировал, что научного и публицистического языка на Украине до сих пор не существует, «украинская письменность и до сих пор, как тридцать лет назад, остается достоянием одной беллетристики и поэзии».

Значит, преобладание русского литературного языка на Украине меньше всего объяснимо действием правительственных указов. Истинную его причину Драгоманов усматривает в том, что «для украинской интеллигенции, как и для украинофилов, русский язык еще и теперь является родным и природным».

От себя мы можем прибавить, что он и не мог не быть таковым, поскольку на протяжении тысячи лет создавался и совершенствовался малороссами и великороссами вместе. Бывали времена, когда роль украинцев в его формировании оказывалась значительнее, чем великороссов.

Самостийнический отказ от него означает духовное ограбление своего народа. «Украинская публика, — замечает Драгоманов, — як бы зисталась без письменства російського, то була б глуха и слипа».

Несмотря на протесты левого русского и украинофильского лагерей, указы 1863 и 1876 годов не только не вызвали недовольства на Украине, но не были даже замечены сколько-нибудь значительным числом народа. Валуев, безусловно, не выдумал того «большинства малороссиян», что возражали против украинизации школы и печати. В своих, пусть грубых и неумных запретных действиях, правительство имело на своей стороне сочувствие подавляющего количества украинского населения.

V

С. Ф. ПЛАТОНОВ

В двадцатых годах студентам Петроградского Университета приходилось слушать лекции в холодных, неотапливаемых аудиториях. Сидели в пальто. Профессора тоже. Как сейчас помню: вошел в четвертую аудиторию и прошел к кафедре седой подстриженный бобриком старичок лет шестидесяти. Лицо суховатое, растительности никакой, только на подбородке белый клочок. И это Платонов! Какой контраст с популярностью, окружавшей его имя! А популярность была такова, что даже В. И. Невский, старый большевик, один из видных руководителей Наркомпроса, назвал Платонова в своей речи «драгоценным фарфором», подлежащим бережному хранению.

Но вот он начал речь, и к концу лекции наружность его, голос, вся манера говорить слились в один образ. Стало ясно, что другого облика у Платонова не могло и быть. Лекторская его манера была особенной — простая разговорно-повествовательная речь, но необычайно плавная, покорявшая своим изяществом. Про Ключевского рассказывали, что он на кафедре разыгрывал русскую историю в лицах, что, цитируя документы XVI—XVII вв., подражал дьяческой гнусавости. У Платонова всякий элемент актерства исключен был. Доминировал артистизм. Цитат было немного, но подобранные с таким вкусом и под-

несенные так, что врезывались в память на всю жизнь. Ничего «вещающего», «вдалбливающего», поучающего в тоне его лекций не было. Все вело к тому, чтобы исторический материал сам собой захватывал слушателя и укладывался в стройную картину. Каждая лекция была художественным произведением и держала аудиторию в течение часа в неослабном внимании.

Столь же исключительным предстал Сергей Федорович в роли руководителя семинара. Уже тогда, в 20-х годах, началось искажение в советских университетах идеи семинарских занятий, превратившихся в школярство, в подобие классной «учебы». Платоновский семинар оставался особенным, был своего рода оазисом, где студент посвящался в тайны научного исследования. «Тайн», собственно, никаких не было, но не было манеры некоторых профессоров «кормить с ложки», — давать советы, наставления, как писать доклад. Просто предлагался список тем в пределах общей темы семинара, и каждый выбирал, что ему нравилось. С. Ф. не любил, когда приходили к нему «на консультацию».

Студент должен справляться с докладом своими силами. Кто не умел ни литературы, ни источников подобрать по своей теме, ни облудать концепцию реферата, рассматривался как недостойный внимания. Из такого все равно ничего не выйдет. Похоже это было на ту школу плавания, когда человека прямо бросают в воду, не обучая никаким приемам. Зато в заседании семинара доклад подвергался тщательному разбору. Тут и была истинная «школа». Заклучалась она, конечно, не в выискивании промахов и недостатков. Следил Платонов за степенью «вчувствования» в избранную тему, за степенью мобилизации материала, за тонкостью аргументации, за композиционным построением. Мы долго помнили похвалу Сергея Федоровича первому же «докладчику», имя которого я не могу здесь назвать, как человека, живущего в СССР. Оставленный одновременно со мной при кафедре, принятый в аспирантуру РАНИОНА и сделавший потом хорошую педагогическую карьеру в одном из высших учебных заведений,

он ограничился чтением лекций, но ни строчки не опубликовал в печати.

Воздержанность этого талантливого человека можно объяснить только травмой, полученной многими молодыми людьми 30-х годов, в эпоху беспощадных чисток, арестов и ссылок. Его доклад в нашем семинаре был образцовым.

Когда появились воспоминания Сергея Федоровича о его студенческих годах, стало ясно, что такой метод руководства семинаром вынесен им из Петербургского Университета 70—80-х годов от К. Н. Бестужева-Рюмина, чьим учеником он был и кто оставил его при кафедре для подготовки к профессуре. У Бестужева и у Платонова это был метод обнаружения талантов. «Эрудиция — дело наживное», — часто слышали мы от нашего руководителя и понимали, что творчество историка не в ее накоплении, а в чем-то высшем. Так воспитаны были все его знаменитые ученики — А. Е. Пресняков, С. В. Рождественский, П. Г. Васенко, П. О. Любомиров, Б. А. Романов, С. Н. Чернов и др. Педагогический метод Платонова — прообраз его ученого облика. Долгое время он сам его не замечал и не знал, что сделался главой новой школы в русской историографии. После разрушения схемы историко-юридической школы Соловьева-Чичерина русская историческая наука в его лице вступила на путь монографического изучения отдельных сюжетов и на освобождение от предвзятых точек зрения на русский исторический процесс. А. Е. Пресняков характеризовал это как «научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном непосредственном отношении к источнику и факту вне зависимости от историографических традиций».

В ученом стали ценить не историософские, не политические его построения, а исследовательскую остроту, открытие новых фактов и искусство восстановления исторической картины на их основе, а не на отвлеченных умозрительных спекуляциях. Платонов сделался как бы вождем и знаменем нового поколения. «Я старый техник», — говорил он не раз на заседаниях своего семинара. Но дело

было не в одной исследовательской технике. Платонов явился создателем нового духовного климата в научном творчестве. Эту его роль никто не определил лучше, чем П. Б. Струве. Он уподобил ее роли... Чехова. Портретное сходство тут, конечно, не имелось в виду. Петр Бернгардович видел в обоих представителей 80-х годов — «эпохи реакции», как их принято называть. Часто всех, кто в те годы не заявил себя либералом или радикалом — объявляли «махровыми реакционерами». Но в эти же годы появились и предтечи русского культурного ренессанса. «Не забудем, — говорит П. Б. Струве, — что это поколение дало России Чехова и Платонова — людей духовной свободы и душевной несвязанности, свободных от всякого рода предвзятостей идейных и политических». «Им были чужды споры их отцов и дедов».

За эту «душевную несвязанность», за «свободу от всякого рода предвзятостей идейных и политических» ненавидим был Платонов советской властью и марксистской школой, погубившими русскую историческую науку. Больше всех ненавидел его М. Н. Покровский, бывший едва ли не главным вдохновителем идеи уничтожения старой профессуры. Не написавший ни одной исследовательской работы, всю жизнь «социологизировавший», политизировавший, выбросивший лозунг: «история — самая политическая из всех наук», Покровский сознавал свою низкопробность как историка и с ожесточением гнал подлинную науку, вплоть до физического истребления ее представителей. Торжеством его закулисной политики был 1930 год, когда мало не все русские историки оказались в тюрьме, в лагере, в ссылке. Тогда-то семидесятилетнему Платонову и было приписано намерение свергнуть советскую власть и посадить на трон одного из оставшихся в живых великих князей. Глупость обвинения была столь очевидна, что весь мир недоумевал, как оно могло возникнуть? Альбер Матъез, профессор Сорбонны, бывший член французской коммунистической партии, написал возмущенную статью, осуждавшую варварский акт советского правительства.¹ П. Б. Струве

¹ «Choses des Russie Sovetique». Annales historiques N. 2.

писал тогда: «В трагической личной судьбе С. Ф. Платонова, первого по смерти Ключевского русского историка, по глупейшему и подлейшему политическому обвинению посаженного большевиками в тюрьму, отражается великая трагедия нашей поруганной и растоптанной родины».

* * *

Работа Сергея Федоровича в университете продолжалась до 1927 года. Из университета его не уволили, он сам ушел, будучи оскорблен обидными условиями, в которые был поставлен. Деятельность его с этих пор сосредоточилась в Академии Наук в «Постоянной Историко-Археологической Комиссии», учрежденной П. Строевым в 1834 г.

Он уже задолго до революции был фактическим руководителем этого учреждения, а с 1917 г. сделался официальным председателем. Там под его редакцией и наблюдением опубликовано множество ценных материалов по истории России.

Уход Сергея Федоровича был для меня особенно тяжел. Встречи с ним приобретали теперь характер «нелегальный», да и разговоры не всегда касались академических тем. Но они всегда были увлекательны. Уже в эмиграции профессор Эльяшевич, один из старых питерских профессоров, писал мне из Парижа: «По счастливой случайности в течение многих лет часы моих лекций совпадали с часами лекций С. Ф., и в антрактах мы всегда беседовали. Я не знал не только более приятного, но и более поучительного собеседника, нежели С. Ф. Из его бесед я извлекал более, нежели из любых лекций. Многое до сих пор засело у меня в голове, хотя с тех пор прошло уже 35—40 лет». Таково было обаяние этого человека.

Незадолго до его ухода я представил ему работу «Влияние иностранного капитала на колонизацию русского Севера в XVI—XVII вв.»² и будучи предназначен

² Он лестно отзывался о ней в своем докладе на *Russische Historiker Woche* в Берлине 11 июля 1928. (Напечатан в «Летописи Занятий Археологической Комиссии» за 1928 г. под заглавием «Проблема Русского Севера в новейшей историографии».) Никто в то время не подозревал, что через два-три года в его докладе усмотрят контрреволюционный антисоветский манифест и призыв к иностранной интервенции.

им для оставления при кафедре, рисовал себе перспективу дальнейших занятий в университете под его руководством. Это не сбылось. Политика централизации, проводимая Наркомпросом, потребовала всех оставляемых при университете для подготовки к профессуре отправить в Москву в РАНИОН.³

С этих пор встречи с С. Ф. сделались редки. Приезжая в Ленинград, я видел его либо в Археографической Комиссии (преобразованной впоследствии в Институт Истории Академии Наук), либо «ловил» в кулуарах академической библиотеки, директором которой он в то время был. Бывал иногда и на квартире у него на Каменноостровском проспекте. В разговорах он редко выходил за пределы академических тем. Однако зашла как-то речь о его участии в качестве эксперта при заключении Рижского мирного договора с Польшей в 1920 г.

В Риге ему удалось совершить важное для русской культуры дело. Оно касалось судьбы Российской Публичной Библиотеки — самого крупного книгохранилища в России. В основу его положены были фонды, вывезенные в свое время из Польши в эпоху ее раздела. Поляки в 1920 году потребовали их назад. Это грозило большим ущербом Публичной Библиотеке. Но Сергею Федоровичу удалось найти какую-то «зацепку», благодаря которой книги не были взяты. «Они до сих пор благополучно пребывают у нас», — говорил он с довольным видом. Но ему не удалось спасти ценнейшей коллекции латинских манускриптов, хранившихся в той же Публичной Библиотеке. Она возвращена была Польше. Погибла там при нашествии на Варшаву гитлеровских войск.

В одной из бесед довелось услышать любопытный рассказ о дружбе его с Д. Б. Рязановым. Возникла она в первый год революции, когда тот был назначен заведующим Центрархивом, а Платонов — его помощником. Темпераментный Рязанов, слывший «огнедышащим» большевиком, был всего лишь огнедышащим марксистом. С боль-

³ Российская Ассоциация Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук.

шевизмом у него обстояло не вполне благополучно, что и сказалось потом на его судьбе. Но и как марксист он создал себе уйму врагов. Рассказывали, что когда какой-нибудь красный профессор распинался перед аудиторией, Рязанов трогал его за локоть: «Послушайте! Послушайте! Ведь вы же ни черта не понимаете в марксизме!» Сам он был ученый марксовед, исследователь, и не этот ли ученый темперамент сблизил его с Платоновым? Когда-нибудь будут отмечены заслуги этих двух мужей в деле спасения архивных ценностей России.

В революционном Питере шел разгром дворцов и правительственных учреждений. В здании Сената, где помещался Центрархив, постоянно звонил телефон, извещавший об опасности, грозившей тому или иному учреждению. Надо было спешить на выручку. Приходили иной раз в последнюю минуту, когда драгоценный материал оказывался уже выброшенным на мостовую, полит керосином и только спички не хватало, чтобы запылал. Толпа обычно была глубоко убеждена в своих погромных правах и кричала — «Царские бумаги спасаете?!». Но натиска Рязанова, его грозного голоса не выдерживала и отступала.

«Кипяток!» — восхищался им Платонов. Поведал однажды о таком эпизоде. Явилась к нему со слезами вдова расстрелянного царского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу в Центрархив. Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению последовало распоряжение — «взять!». И вдова была устроена. Начавшаяся в Центрархиве дружба продолжалась весь остаток жизни Сергея Федоровича. В 1930 году он был арестован и сослан в Самару, куда вскоре же сослан был и Рязанов. По доходившим оттуда слухам, оба ходили в гости друг к другу.

Покойный М. А. Алданов назвал ученых в СССР самыми несчастными людьми в мире. Лагеря, ссылки, изгнание из университета, «проработки», оскорбления, насилия над ученой совестью — вот муки, через которые прош-

ло большинство из них. Самая горькая чаша выпала на долю служителей исторического знания. Физики, химики, математики оказались счастливее. Ни монархической ереси в химии, ни эсеро-меньшевистской заразы в математике быть не может. Историкам же прямо сказано: «Кто не с революцией, тот против нас».

Согласно М. Цвибаку, получившему задание «проработать» Платонова — «всякое историческое исследование, о чем бы, о ком бы ни писалось, ведет и должно вести к тому, чтобы объяснить существующее сегодня... Когда историческая школа, в силу своего классового положения, создает историческую концепцию, в которой нет места для пролетарской революции, для пролетариата вообще... мы говорим, что такая историческая школа превращается в пустое место».

Вина ученых типа Платонова в том, что они не объясняли «существующее сегодня» и в поле их зрения не было «диктатуры пролетариата». Они не превращали историю в политику, в пропаганду. За это и накладывалось на них клеймо вроде: «прямой агент антантовского империализма», каковым отмечен был Е. В. Тарле, или «монархист-германofil» — Платонов. Клеймо «монархиста» так прочно срослось с его именем, что почти через сорок лет после его смерти в новом издании «Большой Советской Энциклопедии» он назван «монархистом» и сказано, что «после 1917 года его политические взгляды изменились мало»! Такая гнусная личность, как С. Пионтковский — сексот и доносчик, погубивший в 30-х годах немало ученых и сам расстрелянный в конце 40-х годов, называл Платонова даже «царедворцем». Подозрительность свою он переносил и на людей сколько-нибудь близких к Сергею Федоровичу. В бытность мою аспирантом Института Истории РАНИОН, где он после милейшего Е. А. Морозовца сделался ученым секретарем, он взял меня под свое неослабное наблюдение как «ученика Платонова». Его раздражала каждая моя поездка в Ленинград.

— Ну, что? На консультацию ездили к «учителю»?

Никто толком не мог объяснить, в чем заключался

монархизм Платонова, ни в одной партии не состоявшего, никакой политической деятельностью или публицистикой не занимавшегося, ни на каких правительственных постах при старом режиме не значившегося. Ни в книгах, ни в речах, ни в декларациях, ни в каких бы то ни было документах не выражался его «монархизм». Были у него только личные добрые отношения с бывшим президентом Академии Наук — великим князем Константином (поэтом К. Р.), высоко ценившим Сергея Федоровича и посвятившим ему сонет, напечатанный в сборнике «С. Ф. Платонову. Ученики, друзья и почитатели 1911». Монархическая легенда о нем создавалась до революции. Еще будучи школьником я слышал от одного из своих учителей поносные речи о Платонове: «генерал от истории», «махровый реакционер».

Учитель этот в свои дореволюционные студенческие годы был отчаянным бунтарем, устройтелем сходок и забастовок. Тогдашние университетские беспорядки были его светлым воспоминанием, поэзией. Теперь мы знаем, что ярлык «реакционера» уже в те годы приклеивался профессорам, неодобрительно относившимся к беснованиям тогдашней университетской молодежи и напоминавшим ей, что университет существует для науки и просвещения, а не для политических демонстраций.

Слово «академизм» приравнивалось к «монархизму» и к «реакционности», а Платонов еще в студенческие свои годы держался академического лагеря. «Сходки мне не нравились, представлялись беспорядочными сборищами, рассчитанными на обработку грубой массы», — писал он уже в советские годы. Так же примерно отзывался о забастовщиках другой видный историк, профессор И. М. Гревс, считавший их «мелкими себялюбцами и фразерами, далеко не всегда чистыми и искренними». «На сходках я никогда не выступал», — пишет в своих воспоминаниях С. П. Мельгунов (в то время — студент, и весьма «левый») — «нелюбовь к толпе, органическая ненависть ко всякого рода демагогическим приемам у меня осталась на всю жизнь».

История студенческих беспорядков еще не изучена, и какую

роль играли тут «профессиональные революционеры», может выясниться только тщательное исследование, которого еще не было. Одно ясно: деление профессоров на прогрессистов и реакционеров пошло от крамольного студенчества. Советская власть подхватила и продолжила эту готовую версию. Когда Г. Зайделю и М. Цвибаку положено было в 1931 г. выступить на открытом заседании Ком-академии в Ленинграде с обличительными речами против Платонова и Тарле, они обратились к этой уже готовой легенде и к логике революционного студенчества: кто не открытый враг царизма — тот друг его. Нельзя не привести здесь интереснейших строк Петра Бернгардовича Струве, описывающих встречу его с С. Ф. Платоновым в Петербурге в конце 1913 г.

«Меня поразил, — пишет он, — глубокий фаталистический пессимизм в оценке того чисто «психологического» кризиса, который переживала Россия и который к тому времени как бы воплотился в бессмысленно-роковую и фатально-бессмысленную фигуру Распутина. Я знал, что Платонов был всегда «правым», что оппозиция императорскому правительству и даже фрондерство против него были С. Ф. совершенно чужды. Но именно потому меня поразил его глубокий, прямо безотрадный пессимизм в оценке того, куда идет Россия. Платонову чуялся — таков был смысл его резко откровенных рассуждений и характеристик, — кровавый дворцовый переворот в стиле XVIII, но в атмосфере XX века, с уже разбуженными, но отнюдь еще не дисциплинированными массами, с государственным отщепенством интеллигенции, не видевшей той пучины, к которой она неслась с каким-то страстным упоением отчаяния. Не я начал разговор. Его завел сам Платонов, точно у него, как у историка, была потребность высказаться передо мной как недавним редактором «Освобождения» и еще более недавним участником сборника «Вехи». Он говорил отрывисто, неровно, ничуть, однако, не стесняясь обстановки трамвая, в котором кроме нас было много пассажиров».

Погиб Сергей Федорович вместе с Академией. Когда-

нибудь это трагическое событие будет полно и достойно освещено. Нас, современников, оно поразило своей неожиданностью. Разгрома Академии никто не предвидел. Власть была в это время на редкость ласкова с нею, перестала резко противопоставлять ей Комакадемию. По-видимому, уже в то время возникла идея слияния этих двух учреждений. Добились того, что несколько видных большевиков — Луначарский, Покровский, Рязанов, Деборин, Волгин — оказались избранными в число членов Академии Наук. Все предвещало мир и сотрудничество. Вышло постановление об учреждении аспирантуры при Академии Наук. Когда я приехал в Ленинград и встретился с Сергеем Федоровичем, он первым делом объявил мне об этом. Предложил перейти из аспирантуры РАНИОН в аспирантуру Академии и переехать в Ленинград, нарисовав соблазнительную перспективу остаться при Академии и после окончания аспирантуры. Надо было подать прошение в особую комиссию по приему, возглавлявшуюся В. П. Волгиным. Вернувшись в Москву, я не преминул это сделать и вскоре получил благоприятный ответ. Но сущим ударом была встреча с одним осведомленным лицом. «Вы с ума сошли!.. Академия — это осажденная крепость. Не сегодня-завтра она падет». Предостережение исходило от человека, которому нельзя было не верить.

Теперь, когда я узнал о его смерти, я могу назвать его имя. Это был С. Н. Валк — один из учеников покойного академика А. С. Лаппо-Данилевского, специализировавшийся в области дипломатики — науки о документе — вспомогательной исторической дисциплине. Как единственный знаток в этой области, он приглашен был в Институт Ленина, где почувствовалась надобность в таком специалисте.

Мы с ним были близки, и уже будучи в Америке я получал от него дружеские приветия.

Зная по своей службе в Институте Ленина то, чего остальной мир еще не знал, он счел нужным предостеречь меня.

— Скорее берите назад свое прошение.

Опять — в Ленинград. Сергей Федорович встретил меня хмуро. «Что такое? Почему берете назад бумаги?»

Связанный словом, данным моему информатору, я не мог сказать правды, тем более, что сама эта правда выглядела вымыслом. Видя мое замешательство и смущение, Сергей Федорович прошел со мной вместе в секретариат, попросил достать и вернуть мне мои документы. Это был последний раз, что я его видел.

Разгром Академии начался по прибытии в Ленинград комиссии Фигатнера, учинившей жестокую чистку ученого состава, завершившуюся, как известно, арестами ряда академиков. Первым из них был С. Ф. Платонов.

ПАМЯТИ С. П. МЕЛЬГУНОВА*

Сергей Петрович Мельгунов до самой смерти считал политику своим призванием и все свои исторические труды рассматривал как одно из проявлений политической деятельности. Он никогда не принадлежал к академическому ядру историков типа Ключевского, Платонова, Дьяконова, Богословского. Ученую свою родословную ведет скорее от В. И. Семевского, стремившегося к сближению исторической науки с текущей политикой. Показывая мне однажды выпущенную еще до революции работу, посвященную церковному расколу, он признался, что писал ее с единственной целью изучения старообрядчества, как возможного резерва народно-социалистического движения. Политическими мотивами и интересами вызваны к жизни все остальные его труды. Казалось бы, ничего хорошего исторической науке это не сулило. Историк, по словам Миллера, должен казаться «без родины, без веры, без государя». Каково было следовать такому уставу человеку, смотревшему на политику, как на дело своей жизни?

Тем не менее, памятник себе он воздвиг как историк. Можно бесконечно удивляться парадоксальности случая, когда воспитанный в строго академических традициях Милю-

* Первоначально напечатано в *The Russian Review*. July, 1958.

ков сразу превратился из ученого историка в публициста, как только занялся событиями своего времени, тогда как основы научного изучения истории русской революции заложил бунтовавший против академизма Мельгунов. Именно тема революции сделала его выдающимся исследователем. Все, что было написано им в России, свидетельствовало о призвании, о даровании, но ничего не говорило об особом месте, которое он мог бы занять в историографии. Очевидно, в карьере писателя и ученого, как в карьере полководца, должен быть свой «Тулон». Таким Тулоном для Мельгунова явилась эмиграция. Это она побудила его стать историком русской революции. Серией своих книг, если их брать не в порядке выхода в свет, а сюжетно-хронологически, он охватил всю роковую эпоху русской истории, от конца первой мировой до конца гражданской войны.

Писать историю недавнего прошлого почти невозможно. От эпохи, как от большой горы надо отойти, чтобы всю охватить ее глазом. Трудно писать и вследствие недостатка источников. Но едва ли не самую большую трудность представляет страшное давление политических групп, партий и отдельных лиц, тесно связанных с изучаемой эпохой. По вполне понятным причинам они ревниво относятся к освещению их поведения в прошлом, и часто становятся яростными врагами историков. С. П. своими трудами снискал ненависть очень многих партийных людей, как справа, так и слева.¹ И если она не выражается в прямых выступлениях против его работ, то только потому, что выступать против них нелегко. Покойный основывал свои положения на гранитном фундаменте фактов. Этим объясняется почти полное отсутствие печатных выпадов против его книг, даже в тех случаях, когда в них

¹ «Если бы вы знали, — писала мне после его смерти П. Е. Мельгунова, — как злопыхательствовал Вишняк в письмах к Хераскову, обвиняя Сергея Петровича за истину о Чернове, да и вообще об э-эрах, о которых, с точки зрения Вишняка, надо было писать только хорошее, а пишущий правду — клеветник».

заклучались настоящие пощечины и убийственные разоблачения.

Чтобы не побояться писать о временах еще не отживших, не смущаясь ни враждой низвергнутых режимов, ни современным состоянием источников, требовалось не одно мужество, но и большой талант. Мельгунов один из немногих показал, что можно сделать с тем на первый взгляд небольшим, а на самом деле огромным количеством материала, что имеется в научном обороте по избранной им теме. Секрет его успеха, в сущности, очень прост. Работу над своими «ненаучными» сюжетами он повел в строгом согласии с методами, приемами и техникой научного исследования, выработанными поколениями историков. Именно благодаря этому труды его заняли особое место во всей литературе по истории революции.

У Мельгунова наблюдается поразительная для человека его темперамента отрешенность от каких бы то ни было предвзятых схем политических, историко-философских, национальных, каких угодно. Им владеет только пафос установления факта, чего как раз не хватало историографии Февраля-Октября. До него не подозревали, что об этих роковых российских месяцах можно говорить объективно. События всего шестидесятилетней давности успели обрасти легендами в неменьшей степени, чем история фараонов. Неудивительно, что простое их разоблачение представило обе наши революции в совершенно неожиданном свете и непохожими на те распространённые о них представления, что укоренились чуть не с первых революционных дней.

Особенно много поработал покойный над самой популярной легендой, возникшей еще до революции и сыгравшей немалую роль в низложении монархии. Она многих толкнула на путь дворцового заговора. Как в великосветских петербургских, так и в думских кругах, особенно в армии, на дворцовый переворот шли во имя победы над внешним врагом. Препятствием к победе считали самого царя и царицу. Об их измене говорилось открыто, а после падения самодержавия, версия об измене царской

четы и о намерении заключить сепаратный мир с Германией приобрела почти официальный характер. Даже уравниловский, лишенный демагогических замашек Плеханов восклицал на Государственном Совещании: «Царь не хотел защищать Россию!», «Царь и его приспешники на каждом шагу изменяли ей!» А Виктор Чернов поддерживал версию об измене в книге, вышедшей уже в 1934 году в Париже.

Мельгунов никогда не был монархистом. Ни симпатий, ни уважения к личности последнего царя не испытывал. Вместе со всей дореволюционной оппозицией видел в нем слабого, ничтожного правителя, явно непригодного для управления великой страной, особенно в роковые годы войны. Но он решительно восстал против нелепого и несправедливого обвинения царской четы в измене родине и в отсутствии у нее патриотизма. С темпераментом истинного историка он разрушил эту легенду, созданную «прогрессивной общественностью». Особенно сокрушительной критике подверглась знаменитая думская речь П. Н. Милюкова, произнесенная 1 ноября 1916 г., которую он сам назвал «штурмовым сигналом революции».

В своей работе «На путях к дворцовому перевороту» и в ненапечатанной еще при его жизни книге,¹ Мельгунов доказывает полную несостоятельность этой речи.

О революционизирующем ее действии споров быть не может, она действительно потрясла всю воевавшую Россию, как в тылу, так, особенно, на фронте. Сказать на весь мир об измене, гнездящейся не где-нибудь, а на троне, было нешуточным делом. Никто не сомневался в солидности обвинений. Существовало убеждение, что если человек, рискуя арестом и ссылкой, решился выступить в Думе со столь серьезным заявлением, то, значит, слов на ветер не бросал, значит, собранный им материал

¹ «Легенда о сепаратном мире». Вышла в 1957 г., после смерти Сергея Петровича, благодаря энергии его вдовы Прасковьи Евгеньевны и содействию комитета, образовавшегося из числа видных деятелей эмиграции — М. Е. Вейнбаума, А. Л. Толстой, М. М. Карповича, М. А. Алданова, Н. О. Лосского, И. И. Сикорского, Б. В. Сергиевского и др.

проверен и взвешен. В предисловии к отдельному изданию этой речи, в 1917 году, так и было сказано: «испытанный вождь оппозиции П. Н. Милюков тщательно подготовил материал для всенародного разоблачения закулисной работы партии царицы Александры и Штюрмера и перед лицом всего мира разорвал завесу, скрывавшую немецкую лабораторию сепаратного мира».

В вышедших после этого мемуарах Милюков продолжает настаивать на солидности своей подготовки к речи. «Я воспользовался для нее всем материалом, собранным в России и за границей». Утверждая так, он ни словом не обмолвился о разоблачениях Мельгунова, показавшего, что Милюков-политик вопреки Милюкову-историку вовсе не смотрел на свою речь, как на штурмовой сигнал, потому что боялся революции не меньше Штюрмера. «Историческая речь» навязана была ему тогдашней московской общественностью, и произнес он ее, как признался Морису Палеологу за неделю до выступления, для умиротворения этой самой общественности. «Иначе мы потеряем всякое влияние на наших избирателей, и они уйдут к крайним партиям». Основные тезисы речи — «измена» и невозможность иметь дело с существующей властью — подсказаны были Милюкову кн. Львовым в особом письме. Видимо, тоже не без влияния этого загадочного деятеля февральского переворота оба эти тезиса попали в заранее заготовленную резолюцию Прогрессивного Блока. Милюков вряд ли бы произнес свою речь, если бы хоть немного подозревал о ее зажигательных свойствах. Он полагал, что ни о какой революции не приходится говорить в течение нескольких ближайших десятилетий.

Разоблачена Мельгуновым и другая легенда, возникшая после революции и живущая по сей день в некоторых эмигрантских кругах. Она приписывает Прогрессивному Блоку «дьявольский» план свержения самодержавия, подробно разработанный и проведенный думскими кругами с исключительной энергией и последовательностью. Планов дворцового переворота, как показывает Мельгунов, было много, но эпитет «дьявольский» ни к одному из

них не приложим. Скорее бы назвать их дилетантскими, фантастическими, наивными, как наивна была вся породившая их среда. Либеральная думская фронда двух последних лет перед революцией выглядит под пером Мельгунова жалкой, неорганизованной, без ясной программы и метода действий. «Ее атаки на правительство не всегда были последовательны, ее шаги были противоречивы. Она вращалась в заколдованном кругу колебаний между поддержкой власти и ее штурмом, между успокоением стихии и ее возбуждением». «Мы были неопытными революционерами и плохими заговорщиками», — признавался потом Миллюков. Эти его слова взяты эпиграфом к книге Мельгунова.

Писать портрет Мельгунова-историка невозможно без изложения этих красочных эпизодов, восстанавливающих истину, как восстанавливали некогда старинные фрески из-под слоя штукатурки. К сожалению, и рассказать о них в краткой статье тоже невозможно. Упомяну лишь об одном. Это совершенно ошеломляющая своей неожиданностью картина октябрьского переворота.

Большевицкие и противобольшевицкие писатели успели широко внедрить в умы представление о нем, как о революции, совершенной «по нотам», заранее предсказанной, заранее назначенной на определенный день и выполненной виртуозно.

Мельгунов остро подметил авантюрный, случайный характер переворота, удавшегося единственно потому, что Временное Правительство не отличалось ни большими способностями, ни бóльшим чувством ответственности, чем правительство царское. Степень подготовленности большевиков была такова, что хорошо сплоченного отряда в 2—3 тысячи человек было бы достаточно для ликвидации их выступления. Не было ни ясного плана, ни уверенности в успехе. Но самое главное, не было ничего похожего на ту армию восставшего пролетариата, с помощью которого, якобы, большевики свергли Временное Правительство. Работа на фабриках в день переворота не была остановлена, и даже от такого завода, как Путиловский,

участвовало в уличных событиях не больше восьмидесяти человек. Большевикам удалось вывести на улицы всего каких-нибудь 3—4 тысячи, и это были не рабочие, не солдаты, даже не красногвардейцы, а случайный сброд, среди которого уголовному элементу принадлежало видное место.

Единственной сколько-нибудь организованной силой были прибывшие в Петроград кронштадтские и гельсингфорские матросы, моральный и политический облик которых плохо вяжется с характеристикой «красы и гордости революции».

Не надобно быть специалистом-историком, чтобы, читая труды Мельгунова, понять, какая огромной важности работа проделана по расчистке поля для будущих исследований. Наше время не способно оценить эту заслугу, да и не сделает этого хотя бы потому, что для очень многих восстановление фактов в их правах нежелательно.

Но когда начнется пристальное изучение русской революции как величайшего события мировой истории, значение этих трудов возрастет необычайно. От них будут отправляться новые исследования. Вряд ли такая роль суждена чьим-нибудь другим работам.

ПАМЯТИ М. А. АЛДАНОВА

Когда умирает писатель, литературоведам лучше молчать. Их работа начнется позднее. Над могилой хочется не литературных оценок и характеристик, а чего-то простого и нужного — той единственной оценки, что выражается в двух-трех словах, но заключает в себе все самое значительное. Это вроде тех прозвищ, которые любил давать С. А. Венгеров: «великое сердце» (о Белинском), «осердеченный ум» (о Герцене). Можем ли что-нибудь такое сказать об Алданове? Безусловно. Не столь чеканное и медно-звучащее, но зато более сердечное. Это было в 1922 году, когда из брошюры сменовеховца Василевского (Не — Буквы) впервые стало известно в СССР о начинающем эмигрантском литераторе М. Алданове, названном в брошюре «русским Анатолем Франсом». Так и запомнилось это имя вместе с наклеенной на него этикеткой. Несколькоми годами позднее промелькнуло оно в каком-то примечании к виршам Демьяна Бедного, потом я услышал его в Соловках, где сидело немало «парижан», бывших сотрудников всевозможных полпредств и торгпредств. И всегда это имя, несмотря на русский корень, звучало для меня сугубо западно, почти переводом с французского.

Случилось так, что в числе первых книг, попавших в руки здесь, на Западе, были книги Алданова. Конеч-

но, и «Анатоля Франса», и скептицизм, и насмешку, и знаменитую эрудицию нетрудно было заметить с первых же страниц. Но по мере чтения, к моему удивлению, все это «западничество» отходило куда-то назад, а на первый план выступало свое, близкое. В каждой строчке «Анатоля Франса» жила Россия, и не какая-нибудь декламационная, рассудочная, но живая, овеванная любовью. Обрести ее здесь, на чужбине, после 40 лет оплевывания и запрета на родине, после десяти лет распятия на кресте сталинского патриотизма — было ощущением необычным.

С тех пор и росло убеждение в правдивости того, что ныне надлежит сказать об Алданове: это был человек сильно любивший Россию. Вопреки словам Дантона, ему удалось унести ее в изгнание на подошвах своей обуви. За свою жизнь он, конечно, гораздо больше прочел книг по-французски, по-английски, чем по-русски; Европу знал не меньше, чем Россию, и европейцем был образцовым; вместе с тем, не нужно даже глубоко вчитываться в него, чтобы увидеть человека, для которого весь мир — чужбина, отечество — та страна, в которой родился и вырос.

Но в любви его ничего нет от эмигрантской тоски по извозчикам, по русскому снегу, русской грязи, по галкам, по колокольням, по свечечкам да вербочкам. Нет и блоковского, исходящего кровью сердца, ни Христа, ни Антихриста, ни исступленного поклонения «в грязь лицом», ни «священного гнева». Алданов любит Россию историческую — великий синтетический образ, найденный не одним сердцем, но и долгим изучением. Это любовь философа, чуждая страстных порывов, ровная, зато постоянная и глубокая.

Именно такой любви всегда не хватало России. Как надоели нам и пророческий бред о ее великом предназначении, и «ненавидящая любовь» Чернышевского, и проклятия многочисленных Печориных! Почему непременно надо эту страну либо по-сумасшедшему любить, либо так же по-сумасшедшему ненавидеть? Или еще: существует

приятие или неприятие ее «по частям»: народ — богоносец, правительство — исчадие зла. Другой вариант: государственное начало — перст провидения, народ — подлая чернь. Одни периоды ее истории принимаются, другие вызывают ненависть. И не было еще, пожалуй (разве что Пушкин) целостного любовного восприятия России в ее истории, ее географии, в ее духе.

Такое восприятие находим у Алданова. Оно не в рассуждениях, не в историософских текстах, специально подобранных, оно разлито во всех его произведениях. Ни одного осуждения родины не вышло из-под его пера. Прожив большую часть жизни за границей, он ни разу не поддался дешевому соблазну и не вынес сору из избы. А уж он ли не знал о существовании этого сора! Пушкинская мудрость сопутствовала ему, та мудрость, что в минуту отчаяния и ропота на отечество выразилась в словах: «Но мне было бы неприятно, если бы иностранец разделял со мной это чувство». По учению Н. О. Лосского, мы ответственны за то, что рождаемся от плохих родителей; не они, а мы в этом виноваты. Нечто подобное можно уловить в пушкинских высказываниях о России, и оно же звучит у Алданова. Не ищите сентенций, афоризмов, статей, но почувствуйте излучение, исходящее от темы «Россия» во всем его творчестве.

Алданов единственный, может быть, из современных писателей понимает великую роль государственности в русской истории, и в этом понимании больше апологии, чем в рычании целого взвода молодцов из политической Чухломы, явившихся с дубинами защищать русское прошлое. Тот экклезиастический нигилизм, которым проникнута историческая трилогия Алданова, рассеивается и теряет свою остроту всякий раз, когда повествование касается русских эпизодов. Особенно замечателен переход через «Чертов мост». Картина мощи человеческого духа, переданная в движении войск под предводительством седого старца, первым переходящего ревшую пропасть, написана с такой силой, что смех нотрдамского беса уже не властен над читателем.

Вообще следовало бы обратить внимание на то, что скептицизм Алданова, случайно или нет, связан с западными территориями, людьми и образами. Но Экклезиаст распускает морщины, добреет и ухмыляется, как только перед ним Россия и русские. Потому ли это, что они стоят вне всякой философии, или по глубокому чувству симпатии? Экклезиасту так хочется тепла, а оно — в снеговой, неблагоустроенной, безалаберной, но своей и милой России. Постиг он ее через историю, а история наша, как ни издевались над Карамзиным, — есть все-таки история Государства Российского. Отсюда любовь его к дворцам просвещенных вельмож, к царским резиденциям, ко всем местам, где совершалась русская история.

В письме, полученном за месяц до его смерти, покойный выражал мечту (признавая ее несбыточной) совершить паломничество ко всем русским историческим местам, чтобы написать о них книгу. Он — единственный из зарубежных писателей, внимательно следил за судьбой этих мест во время последней войны. А ведь за границей немало жило таких, которых, казалось бы, должна была тронуть гибель Царского Села. Утешенные Монпарнасом, они забыли о родине русской поэзии.

Неблагодарное занятие — предсказывать судьбу, в том числе литературную. Когда и как будет принят Алданов на родине? В большевицкие времена этого не произойдет. Не потому, что покойный много писал против большевизма, а потому, что он — оруженосец исторической реальной (хотя ее сейчас нет) России, не может не быть опасным врагом России выдуманной, сочиненной, выдранной, как страница из кровавого утопического романа, а потому нереальной (хотя она сейчас существует).

Но неужели появление на чужбине, вдали от родины, крупного русского писателя, ничего не означает? Неужели это не знамение и не оправдание возрождения России?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

I

Кладбище погубленных имен.....	7
Новый Гамлет.....	11
А. А. Ванновский.....	19

II

Спуск флага.....	27
Дары данайцев.....	32
Немного истории.....	41
На западном фронте без перемен.....	50

III

История и утопия.....	61
Позорный рецидив.....	72

IV

Лжепророк.....	85
Один из забытых.....	99

V

С. Ф. Платонов.....	125
Памяти С. П. Мельгунова.....	137
Памяти М. А. Алданова.....	144